

АЛЕКСАНДР ЦУКАНОВ

Урал- Батюшка



Убитый, но живой

Урал-батюшка

Александр Цуканов

УБИТЫЙ, НО ЖИВОЙ

«ВЕЧЕ»

2019

Цуканов А. Н.

Убитый, но живой / А. Н. Цуканов — «ВЕЧЕ», 2019 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-8087-4

Семейная драма нескольких поколений Малявиных охватывает весь XX век – от Русско-японской войны до начала перестройки в СССР. В верности поговорки: «От тюрьмы и сумы не зарекайся» – приходится удостовериться многим представителям этой уральской фамилии, ведь жизнь в недавно минувшем столетии была сродни огромной бурной реке со множеством водоворотов. Трудно выжить, но еще труднее сохранить в себе человечность.

ISBN 978-5-4484-8087-4

© Цуканов А. Н., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	17
Глава 4	23
Глава 5	32
Глава 6	42
Глава 7	61
Глава 8	67
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Александр Николаевич Цуканов

Убитый, но живой

© Цуканов А.Н., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Глава 1

Страх

На краю леса в излохмаченном скотиной и людьми реденьком березняке скотник Антипенко наткнулся на труп. Точнее, конь учуял, рванул с дороги на снежную целину, и Антипенко его вожжами окоротил, рявкнул привычно: «У-у, зараза!» Подумал, что балует конь, вытаявшего из-под снега тряпья испугался, выхватил из саней вилы, чтобы отбросить с дороги, да так и застыл: затылок, голый, как коленка, и руку со скрюченными пальцами углядел.

Второпях решил он, что кто-то из местных приплутал по пьяному делу, с кем выпивал, возможно, в одной компании. С трудом перевернул закоченевшее тело на спину. Ругнулся и даже сплюнул с досады: горбоносый старик в длиннополом пальто и стоптанных кирзовых сапогах был не из местных. Антипенко постоял, раздумывая, что надо бы проехать, не замечая, а теперь натоптал, и если станут искать!.. Представил расспросную маету, милицейские протоколы, участкового, он и так висел у него на хвосте из-за двух мешков комбикорма, проданных перед Новым годом за литр водки, а главное – пропадет впустую мартовский день с ярким солнышком и затвердевшим настом, когда только возить бревна из лесу да возить.

Всерьез разозлился, огрел навильником коня, а он, присев на задние ноги, так рванул, что чуть не вылетел из оглобель вместе с хомутом. Правил Антипенко к магазину, где телефон, где люди живые, к тому же бутылку можно выпросить у продавщицы под такое дело в долг.

Весть о том, что Антипенко нашел мертвяка в шапкинском проулке, вскоре расплзлась по деревне, сломав привычный обиход субботнего дня. Когда Ваня Малявин вместе с соседским Сашком прибежал смотреть на мертвеца, двое Пентюховых, отец с сыном, сидели в задке саней и слушали Антипенку, как он вляпался в это дело, а теперь хошь не хошь – карауль труп. А тут еще пацан присел на корточки, чтобы лучше разглядеть, что за наколка у мертвого на левой руке.

– А ну брысь! – неожиданно гаркнул Антипенко. – Улики потопчете, засранцы.

Торопливо, задышливо стал рассказывать Ваня про мертвеца деду Тимофею и бабушке Евдокии, к которым приехал погостить на каникулы из города. Дед вроде бы и не слышит, лежит себе, подбив под спину подушки, газетку почитывает. Но, стоило помянуть про наколку на левой руке, дед газету отложил, приподнялся на кровати и внимательно посмотрел из-под очков. Переспросил, во что одет...

– Нос крупный, с горбинкой, да?

Ваня кивнул:

– Вроде так...

Тимофей Изотикович тут же оделся и через заднюю калитку вышел в проулок. Следом выскочила с шарфом в руке Евдокия Матвеевна, выговаривая ему привычно: «И ты, старый дурак, туда же, на покойника глазеть, а шею не обвязал...» Но Шапкин не обернулся, пошагал споро на взгорок, клоня вперед корпус.

Навстречу ковыляла соседка Ульяна Доброва: в другой раз он непременно бы пошутил, что девятый десяток пошел, а тебя все черт носит мимо моего дома, тут же лишь кивком поприветствовал и сошел на обочину, уступая утоптанную дорожку.

Старуха остановилась и прошамкала с укоризной:

– Считаю, в твоём огороде, Тимоха, мертвяка-то нашли...

Будто не помнил он, что там, где толпился сейчас народ, стояла крайняя их огорожа, а сразу за ней начинался лес – корявое узловатое чернолесье: все больше вяз, дуб, реже клен, а в низинах ольха, осокорь, лещина. Лесной массив этот, овражистый, всхолмленный, не годился для промышленной вырубki, потому и уцелел, остался для Шапкиных-Малявиных своим,

домашним. Свои березки на веники, свой молоденький дубнячок для прореживания и заповедное место, где почти каждую осень палый лист бугрится, вспучивается от грибного обилия. А на самом взгорке, возле кордона лесничего, где лес пореже, собирали опята мешками.

Здесь, за огородами, не раз кострили, пекли картошку, ужинали непритворно и отлеживались на траве после тяжелой ломовой работы на огороде.

Но в шестьдесят втором году пала на Холопово, как ранний заморозок, очередная дурь властей, обрезали огороды у всех, а клин этот, обильно унавоженный за много лет, очищенный от камней, перепахали до глины тракторами, стали сеять чахлую кукурузу, пшеницу, реже – овес. Лес отступил, отодвинулся и сразу перестал быть своим.

Антипенко заранее вышел из саней, заходил кругами перед Тимофеем Изотиковичем, показывая и поясняя:

– Явно из лесу он шел. Да свалился! Вон его шапка... Я ее и поднимать не стал до приезда следяков.

Мертвецу на вид больше шестидесяти: лицо морщинистое, худое, в клочковатой пегой щетине, с искривленным в оскале ртом, будто хотел он укунить или позвать кого-то в последнюю минуту. Ватное пальто из грубого коричневого драпа, чрезмерно большое, доходило ему до пят, а черная спецовка и кирзовые сапоги с вытертыми до белизны головками как бы подтверждали, что старик – беглец и, скорее всего, лагерник. Левая рука со скрюченными в последнем усилии пальцами топорщилась над головой, на кисти возле большого пальца лиловели крупные буквы.

Трудно, почти невозможно было узнать в мертвеце Степана Чуброва, но Шапкин узнал и сообразил, что пробирался он прямо к нему, а последние метры полз на карачках. «С оружием, небось?» – прикинул Шапкин и склонился пониже, вглядываясь в него.

Вдруг скрюченные пальцы разжались, кисть качнулась, обвисла, и Шапкин испуганно отшатнулся. Почудилось ему, что не мертвец скалит беззубый рот, а тот самый Степан, готовый вновь заорать:

– Сука ты, Шапкин! Но я тебя порешу!

– Да тебя, тебя... – сразу он тогда не нашелся с ответом, потому что считал: Степка каяться станет и благодарить судью – этого гуманиста сраного, который заменил расстрел десятку годами тюрьмы. – На кол тебя осиновый! На кол посадить!

И впервые мелькнула мысль: может быть, Степка не убивал? Но тут же угасла, не получив никакого развития и подтверждения. Откуда им взяться, когда прошло столько лет, и все эти годы старались лишний раз не вспоминать? Однако он помнил. Хорошо помнил, как приехала вскоре после войны навестить свояченица Дарья, которую и в пятьдесят лет звали все Даша да Даша. Обычные разговоры про детей, которые хоть и выросли, но заботы о них не убавилось... Когда сели обедать, Даша вдруг выдала:

– Забыла совсем. Участковый надясь приходил, расспрашивал про Степана... – Она так и не решилась сказать: «Про мужа моего». – Сбежал он из лагеря казахстанского, ищут теперь. К вам-то не приходили? – спросила она с неизживным своим простодушием и улыбкой на лице, будто речь шла о добром человеке.

Шапкины сначала не поняли, о ком идет речь, потому что старались забыть начисто про Степку-казака, а если дети вспоминали, то обрывали их на полуслове. Лучше бы не вспоминать вовсе. Тимофей Изотикович торопливо водки в стакан нацедил и выпил торопливо. Дарью не укорил, лишь подумал: «Меня Степан ищет».

Страх тогда не было. Страх подступил позже.

Ночью проснулся от короткого стука, прокрался осторожно к двери, прислушался... Только задремал – опять стук, вроде бы в дворовое окно. Вскочил, вытащил из-за шкафа ружье, вогнал в каждый ствол по патрону, хрустнул замком – и сразу отпустило, отлегло, а то сердце частило так, что в виски отдавало. В дверях, отстраняя жену, прикрикнул как ни в чем не

бывало: «Утомонись! Они солью заряжены». Хотя в правом стволе медная гильза, заряженная крупной дробью.

Страшно лишь в первое мгновение, когда темнота кажется непроглядной. Он постоял на крыльце, прислушиваясь к шороху ветвей, раскачиваемых ветром, гуду железной дороги, перебреху собак. Обошел вокруг дома раз и другой, на лавочке посидел, сдерживая дыхание. Никого.

Утром взялся было следы высматривать, как сыщик, а оказалось все просто: у ставни крючок оборвался. Ставню старательно закрепил, заодно проверил замок у входной калитки, в палисаднике, но на следующую ночь снова мерещилась разная чертовщина, Шапкин вставал, крадучись выходил с ружьем на крыльцо, подолгу стоял, оглядывая двор, сараи. В одну из ночей пальнул из обоих стволов по своим же подштанникам, что раскачивались в саду на бельевой веревке...

Неведомый раньше страх впился, как клещ лесной, и никакие доводы, резоны не помогали. Страх, поселившись однажды, жил как бы сам по себе и подталкивал ладить к калитке сигнализацию, устанавливать вдоль забора пугачи, срабатывающие при первом же малом рывке за проволоку, оправдываться перед собой и другими, что в Холопове во все времена воровали, а теперь пацанва вовсе распустилась.

Тимофей не стал дожидаться милиционеров, без того насмотрелся до дурноты, побрел к дому, шаркая подшитыми валенками, и в такт этому шарканью тянулось тягучее: «А ведь я говорил!.. Вот если б тогда...» Что в других раздражало, казалось нарочитым пустословием, теперь прилипло, не отпускало. Словно в отместку, когда отворил калитку, оглядел разомкнутые медные контакты, провод, аккуратно заложенный в паз, приладилась вырвать их с корнем, но заметил возле дровяника Евдошу свою. Руку отдернул, привычно подбил указательным пальцем усы и даже усмехнулся, стараясь показать, что ничего не произошло. Да разве ее проведешь, если пятьдесят лет вместе! Насела с вопросами, неуступчивая в своем: «Что с тобой?.. Я же вижу...»

- Степку Чуброва я признал в мертвеце.
- Какого Чуброва? – переспросила Евдокия Матвеевна, хотя догадалась, сообразила.
- Того самого, что мамашу твою топором...

Глава 2

Убивец Степан Чубров

Следователь районной прокуратуры Владиславлев старательно заполнял документы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины, обнаруженного в деревне Холопово, наступила в результате продолжительного переохлаждения. Признаков насильственных действий не обнаружено. Личность не установлена. Возраст предположительно 65–70 лет. В сводке Всесоюзного розыска на основе выявленных примет не значится.

Обыкновенный бродяга, коих немало мыкается по стране. Ничего интересного, можно быстро закрыть дело. Так и доложил. Однако начальник следственного отдела Кузовкин был иного мнения.

– Торопыга. Людей хоть поспрашивал в Холопове? Старик по всем приметам типичный зэк. Картотекой пользоваться в следственной школе учили?

– Учили. Я и запрос подготовил, да подумал...

– Думалку смотри не сломай. Отправь запрос и езжай в Холопово. Уверен: за стариком длинный хвост тянется...

В ближайший дом к тому месту, где обнаружен труп, Владиславлев зашел наугад. В саду старик сгребал прошлогоднюю листву и мусор, вытаявший из-под снега. Копаться в земле время еще не пришло, но человеку, похоже, не терпелось.

Ответил он на приветствие спокойно, с достоинством. Пригласил на широкую скамейку у дома. Узнав причину визита, нахмурился, но таиться не стал.

– У моей жены сестра есть, Дарья, так это ее бывший муж, Степка Чубров.

– Вы не спутали?... Нет? – переспросил Владиславлев, не ожидавший такой простоты и скорого опознания.

Тимофей Изотикович, почти не кутивший, только для баловства после рюмки вина или водки, которую выпивал к восьмидесяти годам все реже и реже, да и то не с каждым гостем, взял предложенную сигарету и неторопливо стал разминать в неестественно огромных пальцах. «Видно, могучий был в молодости», – восхитился Владиславлев.

На крыльцо вышла Евдокия Матвеевна, приметившая гостя через окно, и по озабоченному виду мужа определила, что гость непростой. Поздоровалась приветливо, спросила:

– Тима, может, чайку вам согреть?

– Ты лучше присядь... Следователь вот Степкой Чубровым интересуется. Помнишь, как он появился на хуторе в двадцать четвертом году?

– Почему это в двадцать четвертом? В двадцать пятом, весной.

– Нет, в двадцать четвертом! Я помню, в тот год яблоки уродились комовые.

– Тебе б только спорить со мной, – упрекнула мужа Евдокия Матвеевна. – Я хорошо помню ту весну, его Ляпичевы из Авдона к нам подослали. Пришел бродяга обтерханный, ростом под два метра, а сам светится, будто вобла, и глаза кошачьим хвостом скачут.

– Правильно, я огороды в низине вспахивал на Гнедом, а когда возвращался, мать твоя Акулина вышла навстречу и говорит: «Наши тетехи пригтели...» Как-то назвала чудно, каторжником или ватажником, уж не помню. Просила пристрожить и отправить подброду.

– А я разве против была? Это все Дашка, дура толстозадая, – помянула сестру Евдокия Матвеевна.

Теперь ей казалось, что в самом деле не хотела нанимать Степана на сезонную работу, отказывала. А он сумел, уговорил взять на пару деньков: «За прокорм, хозяйшечка, возьми. Возьми, не пожалеешь. За прокорм...» Работу крестьянскую знал, это у него не отнять, а когда

отмылся, отъелся, благо картошки и сала на хуторе в достатке, так прямо красавец: волос кучерявистый, нос орлиный, лицо смуглое, чистое. Дашка его глазами прямо слопать готова была, вот и пристала: пособи. Согласилась, жалея сестру, любви ни плохой, ни хорошей еще не познавшую. Объяснила Степану, что Дашка его после вечерней дойки будет ждать в дальнем конце сада.

Степан тут же ответил:

– Шутите, хозяйка?.. Я не из таковских. Мне рано утром скот выгонять.

Не стала ничего растолковывать, неловко ей стало. Глаз лукавый проблеснул, и смущение напускное углядела.

Через пару месяцев Степан помыкал Дашкой, как хотел, покрикивал, а она неслась на его зов стремглав с кружкой воды или опорками. Забеспокоилась Евдокия, стала укорять сестру, а та, как очумелая: люблю, и все. Лишь когда застала ее с бутылкой самогона возле своего ларя, надавала затрещин, потащила к матери.

Акулина Романовна в первый же день как припечатала: «Глаз у Степки порченный, бесовской». Стала она настаивать, чтоб рассчитали и прогнали с хутора. А Дашка – в рев, живот округлившийся показывает.

Неожиданно за Дашку взялась заступаться младшенькая, тихоня Любашка:

– Что у тебя, мама, все за выдумки: «бесовство, порченный глаз»? Жизнь поломаете, как мне со своими свахами... Пусть распишутся.

Отступилась мать: сами расхлебывайте в таком разе. В сентябре им свадьбу справили тихую, потому что у Дашки пузцо торчало, она его и не скрывала, гордилась. Зимой родился у них первенец, которого назвали Юрием, а жить они стали в большой комнате, бывшей при Малявине гостиной. Весной, как оттаяла земля, заложили фундамент под новый дом для Чубровых. Ладить сруб наняли плотников из Холопова...

– Столько лет прошло! Как же вы опознали? – спросил Владиславлев, мало что понимавший в этих перескоках с одного на другое.

– Наколку-то видели на руке?.. Так вот Степка изготовил ее, когда служил на флоте, а в двадцать третьем за шалость, как он сам говорил, его хотели судить, а он дал деру из Архангельска. Скитался без документов, пока к нам не прибилсь. А работник он, вправду сказать, неплохой, но с придурью. Помню, однажды по осени...

– Извините, Тимофей Изотикович, но все же не верится, что по наклке, через столько лет? Могло быть и совпадение...

– Да какое же совпадение? Шел-то он ко мне. Отомстить. Как и обещал тогда, в двадцать девятом. А еще раньше из лагеря бежал из-за этого.

– Между вами было что-то серьезное?

– Что было, то сплыло, – с неожиданной резкостью ответил Шапкин и тут же, словно стараясь ее сгладить, сказал: – Сразу и не объяснишь. Жизнь-то кучерявистая... Но что это – Степка Чубров, можете не сомневаться.

– Хорошо. Но все же я проверю. Извините за беспокойство...

Владиславлев от чая отказался, о чем вскоре пожалел. Ему почти час пришлось ждать на открытом всем ветрам перроне электричку. «А у Шапкиных, небось, расписание есть. Нет, заторопился, – ругал он себя, прохаживаясь вдоль полотна. – Ведь не мальчишка, двадцать три года. Пора бы держать себя солидней». Решил с делом Чуброва хорошо разобраться, прежде чем идти к начальству...

Посещение следователя растревожило. Шапкин привычно прочитал «Уфимскую правду» от заголовка до прогноза погоды, а когда пришло время ужинать, неторопливо поел, попил чаю, сноровисто орудуя остро отточенным ножичком, потому что к вставным зубам так и не смог приспособиться. Летом пошел на ледник за молоком, наклонился, чтоб банку

достать, а верхняя челюсть нырк в щель между стенкой и снегом. Старшему внуку рассказал, а он хохочет: теперь нужно горноспасательную команду вызывать. Ему самому смешно стало. Не раскапывать же весь ледник. Так и отвык начисто.

Евдоша днем завела разговор о Степане, а он отмолчался, но за чаем вдруг вспомнил, укорил неизвестно кого:

– А все золото. Золотые монеты, будь они неладны!..

Сколько было монет, не знал никто, кроме Акулины Романовны. Она каждый раз ловко уворачивалась от расспросов или говорила с укоризной: «Вот помру, тогда перечтете...»

Той осенью, на десятом году после пришествия к власти большевиков, яблоки уродились в малявинском саду невиданно. Лучшие отбирали на продажу и аккуратно ссыпали в дерюжные мешки, и они стояли оковалками в междурядьях. Работали в саду все. Веня Шапкин лазил по веткам с котомкой, где не мог достать Степан с раздвижной лестницы. Акулина Романовна, Дашка, Лидуся перебирали, ссыпали в мешки, Евдокия отдельно отбирала зимние на хранение и укладывала в ящики, а маленькая Анечка охотно стаскивала в кучу червивую падалицу.

К вечеру приехал Тимофей. Он с утра в одного кряжевал сухостой и возил из лесу к дому, да так наломался, что лень было прыгивать с разлатой крестьянской подводы. Сидел в задке на самом краешке, бросив вожжи, смотрел на груды краснобоких яблок, на оголившиеся коленки жены, на сына, падчерицу, которая измазала лицо яблочным соком. Смотрел на подсвеченный заходящим солнцем, так и не обобраный за неделю сад, где правил над всеми запахами необоримый запах любимого аниса.

Степан, проходя мимо с полным ведром, столкнул его как бы нечаянно с телеги. Да стал подначивать:

– Эх, ездок! Чать, ушибся? А с лошади упал бы, так и вовсе расшибся...

И снова плечом – толк.

– Отстань, Степка, – урезонил Шапкин спокойно, с усталой ленцой. – А то будешь землю жрать.

Степан хохочет в ответ, а как мешки на подводу погрузили, вдруг подножку подставил, да так ловко, что едва Шапкин на ногах устоял. И снова хохочет, насмехается:

– Земля тебя, что ль, не держит.

Тимофей Шапкин ростом невысок, на полторы головы ниже Степана, но зато весь литой, комлястый, а руки, что кузнечные тиски. Изловчился, ухватил Степана одной рукой за ворот рубахи, а другой за ногу и вздернул вверх над собой. Потом отшвырнул в чертополох.

– Нашел, сукин сын, ровню!

Степан вскочил, как блохастый кобель, встряхнулся под смешки ребятни и баб, но не подает виду, что ушибся.

– Ополумел, да? Шуток не понимаешь?

– Шутил один недавно, на Иванов день. Евдоха не даст соврать, как авдонский верзила Карпеха девкам юбки задирает да на меня с кулаками полез. Так его, дурня, потом колодезной водой отливали, едва оклемался... Так что меру знай, – строго и не улыбаясь закончил отповедь Шапкин.

Степан Чубров отмолчался и задираться больше не стал, но обиду затаил.

– Сколько же было золотых? – спросил Шапкин жену, убравшую со стола.

– Да ровно две дюжины. Мать все их, считай, раздала нам да внукам... Себе три штуки оставила на черный день. Тебе и то, кажется, подарила.

– Дала. Это точно.

– А мне ведь не сказал. На мельницу свою потратил?

– Приводные ремни позарез нужны были. Пришлось золотой употребить. Но и ремни выбрал славные, им бы снос не было.

– Я ведь говорила, что не будет толку с мельницей...

Тимофей молча поднялся из-за стола и глянул вкось на жену. Она осеклась: пусть и норов, что боров, но знала моменты, когда лучше не перечить.

В тот год прибилась к хутору Любашка, самая младшая из сысоевских сестер, так и не доучившись в городе портняжному делу. Пришла к матери вроде бы погостить, а родила вскоре девочку, и выпало впервые Тимофею Шапкину стать крестным отцом. Ей отвели в большом малявинском доме комнату, где до этого жила Дарья, а она все бегала ночевать к матери и втянуться в жизнь хуторскую не старалась, кормилась с огорода и тем, кто что подаст. Потом и вовсе перебралась в маленький домик, что поставил Малявин для Акулины Романовны.

В этом доме треть пространства занимала русская печь с лежанкой, позади нее закуток с занавеской из грубого холста. Здесь же стоял сундук старинный, с инкрустацией в виде волшебных жар-птиц, со звоном песенным, когда крышка открывалась. Привезен был из Вятки вместе со швейной машинкой.

Как-то трехлетняя Нюска со своим двоюродным братцем затеяли игру, стали прыгать с лежанки на сундук, вот и допрыгались: треснула крышка, вывалилась у сундука боковая планка, а вместе с ней – и пружина витая. Тут без Шапкина не обойтись.

В субботу зашел он перед баней веселый:

– Бегом вот бежал, а то, думаю, найдет теща на мастера лихоманку. Буду трястись...

– Тебе, Тимоша, никакая лихоманка не страшна...

– Это почему так? – смеется Тимофей Шапкин, заранее зная, что Акулина Романовна скажет, а сам сундук к свету разворачивает.

– Ты топором крещен, огнем мечен, пулей оваян, так тебя и заговорная сила не возьмет.

– Правильно говоришь, матушка. Я русский солдат, да еще слесарных дел мастер, таких нечистая сила на дух не переносит.

Оглядел шпунтовое соединение, удивляясь, как хитро сработано и отшлифовано чистенько под лакировку, на загляденье. Пружину стал вставлять на место, а там тряпка в глубине сереет. Подцепил отверткой, дернул на себя – тут-то и посыпались монеты, запрыгали по некрашеному полу.

Шапкин поднял одну монету, оглядел с обеих сторон, ветошкой протер потускневшее золото, прочитал год выпуска, надпись по ободку. Вспомнил, что такой же полуимпериал подарил дядя Пахом после выпускного экзамена в реальном училище. На память... Но заторопился тогда, разменял его в галантерейной лавке, где хозяин долго осматривал монету, все не решаясь принять ее у шестнадцатилетнего парня.

Подкинул на ладони, понянчил в горсти и отдал теще. Сказал:

– Настоящий полуимпериал. Может, теперь и боковинку не заделывать?

– Заделай, Тимофей, заделай, ради Христа. И вот возьми один золотой, – сказала Акулина Романовна с потаенным смыслом.

Шапкин отказываться не стал. Нужда поджимала.

На следующий день дочери насели на мать с расспросами. Евдокия вспомнила, как отца, избитого до полусмерти, конь домой притащил...

– Может, откладывал он на черный день?

– Что ты! Матвей не из таковских. Мне бы сразу сказал. Вот думаю: не покаянные ли это деньги кому-то оставлены были? Прежний владелец сундука, кажется, из купцов.

– Сколько ж их там?

– И-и, бесстыжие! Вы еще, не дай бог, раздеретесь из-за них. Лучше раздам всем по одному. И Фекле, и деткам ее отвезу в Слободу. А тебе, Любашка, три золотых отдам.

– Это почему же ей три? – почти в один голос спросили Евдокия и Дарья.

– Один – ей, второй – сиротке Нюске, а третий – за грех мой, что не усмотрела, не уберегла.

Люба, словно бы испугавшись слов матери о греховных деньгах, отнесла вскоре полуимпериалы в торгсиновскую скупку и там же на чеки купила обновок, да таких, что на хуторе все обзавидовались. Долго разглядывали зимнее пальто из коричневого драпа с кроличьим воротником, купленное для Нюрки на вырост, а высокие ботинки на шнурках с многослойной кожаной подошвой только что на зуб не пробовали. Привезла она еще два отреза ситца хорошего, не удержалась, похвасталась, что первую же косоворотку сошьет Тимофею, потому что он с торгсином надоумил.

Шапкина ждали с мельницы к вечеру. Ждали с нетерпением все. Одно дело – обновики показать и узнать, когда он сможет на ботинки подковки набить, чтоб не было им сносу, но больше всего интересовало: как первый помол? Даже Степан, как ни косился последнее время, а вот печь задымила, и тяга плохая, надо идти за помощью к Шапкину.

Возвращался Тимофей в эти дни непривычно рано, строгий от множества забот, которые навалились и не отпускали с того самого дня, как купил эту мельницу, некогда ветряную, а позже переделанную в электромеханическую. Пока гонял ее вхолостую, потому что окрестные мужики приглядывались и вызвали: как мелет и почему? Зимой поторопился, пустил на новых гарнцах да маломощном двигателе, который собрал из старья, и осрамился. «Дешево хорошо не бывает», – такое он сам любил повторять. А ведь не устоял, потому что ссоры из-за мельницы возникали не раз. Почти год дети видели его только по субботам, в банный день. В ранних сумерках обихаживал скотину и ехал к своей «керосинке», как ее с негодованием называла жена. И так же в темноте возвращался, обедал и ужинал разом, опять убирал скотину, а если и спал, то урывками: два-три часа, не больше.

Сначала продали корову и остатки малявинских сервизов, вплоть до серебряных вилок. Но не хватило малости самой, чтоб пустить дизель... Ссора вспыхнула прямо в именинный день. Сказал Шапкин авдонскому куму, что придется кобылу продать, благо жеребец крепкий подрост, да еще стригунок от этой же кобылы бегают.

– Не позволю продавать Ветлу, даже не думай, – встряла в разговор Евдокия, будто не замечая, что мужчины выпили основательно.

– Старовата кобыла. Счас не продать – осенью поздно будет, – расчетливо прикинул кум.

– А через год ее вовсе только к башкирцам на мясо...

– Ты не наживал, так все готов распродать, а я ее коровьим молоком выпаивала. И не позволю!

– Хватит тебе, Евдокия! Я что, для себя стараюсь? – вспыхнул Шапкин и бухнул кулаком по столу.

Гости взялись умирать. Подсунули ему гармошку, уговорили, улестили сыграть плясовую. А уж он-то умел! И Венька в него: прямо не оттащишь другой раз от гармошки, пока не подберет услышанную где-то мелодию.

К вечеру гости, как положено, едва держась на ногах, погрузились в телегу.

– Трогай, Венька! Да кумовьев не растеряй... Потом Ветлу сам распрягешь и напоишь.

Забыл про ссору Тимофей. Зашел в дом, чтобы в обыденку переодеться да жену приласкать, пока нет детворы, прежде чем идти убираться...

– Не лезь! – будто крапивой ожгла. Отступился он, пусть и заело слегка, что фырчит жена не к месту, того и гляди, весь праздник испортит. – Ты скоро по миру наспустишь из-за чертовой мельницы. Больше чтоб ни одной копейки!..

Евдокия Матвеевна неизлечимо болела упрямством от рождения до самой смерти...

Впервые за шесть лет ударил ладонью жену по щеке. Чуть хлопнул, но губы и нос раскраснели. Ее это лишь подзадорило. Взялась она вспоминать стародавние обиды, попрекать тем, что пришел на хутор с одним табачком в горсти...

Завелся хмельной Шапкин, но рассудка хватило руками не трогать, чтобы не покалечить. Сорвал с гвоздя правильный ремень, но только раз опоясать успел. Выскочила на улицу Евдокия с криком. Шапкин – следом. Так и гнал вдоль огорожи до самого леса.

Однако отступился. Продал конную сенокосилку, которую собрал сам из металлического хламья. Продал одноцилиндровый моторчик – им иной раз качали из пруда воду на полив, и в засушливом тридцать первом его вспомнят не раз. И все же пустил мельницу на новых гарнцах и с новым дизелем осенью 1928 года.

Если бы Шапкину сказали, что мельницу отберут и потянут за это в тюрьму, он все одно не поверил, продолжал бы упрямо ладить ее, потому как из столетия в столетие русичи отстраивали порушенные врагом и пожарами городки, деревни, заново обзаводились худотой: здоров и зажиточен русский работник – крепко и богато Русское государство. Тимофей Шапкин особо не задумывался о причинном порядке самой жизни, раз и навсегда определив свое место и ту естественную зависимость между людьми, без коей немисливо существование на земле. Он часто вспоминал под разным предлогом дядюшку Сашу, прослужившего в Уфе провизором больше трех десятилетий и за все эти годы не пропустившего ни одного дня на своей хлопотной службе. Или того же дядю Пахома, владевшего мукомольным заводом в Нижней Слободе, который на спор в одного загрузил баржу с мукой.

Никакая власть Тимофея не могла переделать. Тем более что власти менялись, а он оставался всегда, и все его знали, почти в каждом доме в пригороде Уфы имела вещь, сработанная или отремонтированная его руками: пусть обыкновенное веретено, он их выточил на своем станке тысячи, отличалось от прочих нарядной красно-синей каймой, угольник под телевизор – точеными ножками, а будильник – точностью хода. Не было, не попало ни одного механического или деревянного чуда, которого он не смог отремонтировать, даже в санаторной кумысолечебнице, куда его возили, как генерала, на директорской «Волге».

И правителей за свой долгий век видел он разных. Когда собирались внуки с правнуками (а съезжались в Холопово они летом часто, и обедать порой приходилось в две смены), то кто-нибудь из них вдруг загорался и, как бы стараясь порадовать остальных, просил:

– Расскажи про царя! Или как Сталина угадал...

Тут надо было очень точно попасть в настроение: чтоб погода располагала, бабушка Евдокия не бурчала и не капризничал кто-либо из правнуков...

– А то в прошлый раз Венькины внуки медали в колодец покидали!.. «Зачем?» – спрашиваю их. «А посмотреть, как булькают», – отвечает старший, а ему уже десять лет.

Только Славиковой дочери, любимой внучке Насте, гостившей в Холопове почти каждый год вместе с сыном, а позже и с дочерью, он отказать не мог.

Начинал Тимофей Изотикович рассказывать по-разному, но чаще всего с такого посыла:

– Для вас он теперь Николай Палкин, царь-самодержец, а для нас всех был с заглавной буквы: Его Императорское Величество.

Рассказывал во все времена безбоязненно, но иногда имела место быть предыстория, как из пехтуры попал к артиллеристам в оружейную мастерскую, но чаще начинал с простого:

– Готовились мы к войсковому смотру. Было это летом одна тысяча девятьсот двенадцатого года. Готовились тщательно, без понуканий унтеров, подбадривая и пугая одновременно друг друга: «Как же, сам государь!»

Помнится, шутили в казарме:

– Митяя тамбовского во втору шеренгу!

– Это почему же в зад? – вскидывался рослый незлобивый Митяй.

– Всех конопатых во втору, – подыгрывает шутнику старослужащий.

Понимали, что не пойдет государь император в дивизионную оружейную мастерскую, а все же отчищали каждое пятнышко на станках, инструменте.

Хорошо помнились ему запахи кожи, оружейного масла, дегтя, которые значимо выделялись в осеннем воздухе. И как ждали. Вдруг гулкое: «Смир-рна!» Вдалеке показалась открытая рессорная коляска в сопровождении конных.

Потом шагал вдоль шеренг вроде бы обыкновенный полковник. Но восторг всех обуял и выплескивался оглушительным «ура!». Полковник шел и шел неторопливо, казалось бы, равнодушный ко всему. Но вдруг глянул с едва приметной улыбкой, приостановился вместе со старшими офицерами, шагнул к правофланговому второй роты, георгиевскому кавалеру. Спросил, как позже узнали, имя. Бывал ли ранен и как тяжело. А правофланговый ответил бойко, весело, за что и был отмечен медалью из рук государя. И все разом выдохнули восторженное «ура!», будто их тоже отметил государь император.

– Не богатырского сложения, в обычном полковничьем мундире, а как-то выделялся сразу... – Тимофей Изотикович проговаривал это раздумчиво, будто силился вновь понять, чем же не угодил царь им всем сразу и ему в том числе, потому что радовался вместе с деповскими рабочими его отречению от престола, пил в тот холодный февральский день водку и ратовал за свободу для трудового народа.

Про Сталина проговорился он лишь в начале шестидесятых годов. Начинал всегда неохотно:

– Что там особо рассказывать... Было это в двадцать седьмом году. Ездил я в Иглинский район к знакомому механику. Там у него переночевал, а утром пораньше – обратно в Уфу, потому что в ту пору вместо электричек ходил два раза в день паровоз с несколькими вагонами, пассажирскими и багажными.

И вот иду к переходному мосту, чтоб навестить товарища в локомотивном депо, а там, странное дело, милиционеры стоят. Один вытянулся и честь мне отдал. Я подумал: шуткует, а после сообразил: на мне куртка и кепка кожаные, эту справу зимой слободской парень уговорил на старый винчестер обменять. Поднялся я на мост и вижу: на первом пути толкотня, состав подошел странный какой-то, вроде литерного. Дверь только открыли, а оттуда грузин усатый выходит в хромовых сапогах – и все сразу к нему с хлебом-солью, с цветами. А другой грузинчик, плюгавенький и рябой, в защитном кителе, встал на ступеньках и наблюдает. Вдруг замешательство какое-то – и все разом отхлынули от рослого красавца грузина, в котором без труда Орджоникидзе угадывался (его фотографии часто в газетах печатали), и к рябенькому потянулись. А тот так и стоит на ступеньках, придерживаясь за поручень. Расстояние небольшое с моста, там и сейчас всегда головной вагон скорого поезда останавливается, отдельные слова долетают. И слышу, как Орджоникидзе что-то ему по-грузински выговаривает громко, гортанно. Возникла догадка, что наши начальники Орджоникидзе со Сталиным перепутали.

А немудрено. Иосиф Виссарионович среди уфимских рослых, неохватных по ширине начальников, мелкогато смотрелся. После один знающий человек подтвердил, что объезжал Сталин уральские и сибирские области по закупке зерна, а в нашей – ни зерна ему, ни мяса, да еще так оконфузили. Поэтому Уфимский обком в числе первых объявили троцкистским и прибрали всех по первому рангу...

Только мяса и зерна от этого больше не стало. Как и при Хрущеве. Этот тоже любил начальство менять, области перекраивать. Помните, небось, очереди за хлебом в начале шестидесятых? Потом не только мясо и масло, табак весь извели, на моих глазах мужики урны с окурками переворачивали. Ох уж почудил!..

Если зависала пауза, его не поторапливали, не лезли с пустяшным: «А я вот помню!» Ждали. Тимофей Изотикович, как бы убедившись, что интерес не ослаб, продолжал без нажима, с обыденным: «Вот однажды...»

Правнуки растекались по саду и огороду, округа наполнялась окриками: «Не трогай, не лезь, не подходи!» – пока их не уводили на речку или в ближайший лесок. Праздник продолжался своим чередом, в лучшие годы после обеда под старенькую гармошку и величавый

аккордеон, который Вениамин Шапкин привез в качестве трофея из Германии и утверждал, что подобного нет не только в Уфе, но и в Москве. Подсаживалась Евдокия Матвеевна, светясь улыбкой и всем своим обликом классической хлопотуньи-бабушки, чуть ворчливой, строгой и одновременно доброй, что уживалось в ней с необыкновенной ровностью последние лет двадцать, но как-то по-особенному высветилось после семидесяти.

Настин муж Дима торопился сделать снимок, поймать ускользающее ощущение праздника вместе с лицом деда, склоненным к регистрам гармошки, и лицо Евдокии Матвеевны с лучиками морщинок от щедрой улыбки и обязательным: «Да скоро ты там?»

К вечеру, когда солнце перебегало на противоположную сторону сада, возвращались шумной ватажкой правнуки, он зазывал всех фотографироваться перед домом на длинной скамеечке, но и ее в иные дни не хватало, поэтому мужчины подсаживались потеснее на корточки, а Дима щелкал и щелкал. И всем им – родным или сводным, это не имело значения в тот момент, – почему-то казалось, что и в городе они так же, как здесь, никогда не рассорятся.

Ваня Малявин, самый младший из пяти внуков, на эти снимки ни разу не попал, возможно, потому, что в ту пору был нескладным, мнительным подростком, для которого Тимофей Изотикович был обыкновенным дедом, каких чуть ли не в каждом доме. Восхищение Димы и двоюродных сестер не воспринимал, восклицал недоуменно: а че в нем такого?.. Он вообще чужак, этот Дмитрий. Приезжает из Москвы, чтобы строгать здесь, у деда Шапкина, доски и точить вместе с ним разный столярный инструмент, и совсем не обижается, когда дед ругает и велит выбросить на помойку привезенную зачем-то аж из Москвы, где он работает директором института, новенькую ножовку.

Чтобы не выглядеть перед ними дураком, Ваня уходил к холоповским приятелям пить вино или кататься с девушками на мотоциклах, уверенный, что дом этот никуда и никогда не денется вместе с малинником, огуречными грядками, подмерзающими яблоньками, кустами неприхотливой ирги и раскидистой черемухой на северной стороне, в палисаднике.

Глава 3

Уфа, год 1903 от Р.Х

Октябрь. Но странное тепло после сентябрьского ненастья, листва на деревьях, лучи солнца, пронзившие двойные рамы, загодя оклеенные к зиме... Переменчива в настроении и Елена: то бойкая скороговорка, необходимые колкости, румянец на щеках, то серая настороженность, взгляд исподлобья и едва сдерживаемое раздражение: «Нет, увольте уж от ваших прогулок».

Под это тягостное настроение Елена призналась, что стала женщиной, и любовь ее там, в Петербурге, оказалась короткой, обманчивой, глупой. «Мне кажется, что я больше не смогу полюбить». Взгляд сквозь золотистые ресницы – ни улыбки, ни малейшего кокетства. «Видимо, останусь в старых девах». И все-таки ждала, что он скажет. А Малявин нужных слов не нашел. Укорил за «старых дев» и прилепил совсем не к месту: «Девичье терпенье – жемчужно ожерелье», – о чем тут же пожалел, потому что она развернулась и стремительно, с громким сердитым перестуком каблучков взбежала по лестнице на анфиладу и оттуда, сверху, сказала: «Эх, ничего-то вы не понимаете!»

Он не заметил, когда в гостиную вошла Варвара Николаевна, не смог скрыть свое недоумение и вынужден был почтительно выслушать увещевания городской матронессы.

– Вы не тушуйтесь, Георгий Павлович, ради Бога. Лена несносна в последнее время со всеми... Я по-женски ее понимаю, тут и наша с отцом вина. Она шесть лет прожила самостоятельно в Санкт-Петербурге из-за Еремея. У него совсем плохо было с учебой, он не мог поступить в Морской корпус! А теперь вы видели, каков красавец?

Малявин видел Еремея минувшим летом, когда он приехал из Порт-Артура, посверкивая новыми лейтенантскими погонами, кортиком, улыбкой. Небольшого роста, черты лица правильные, но незапоминающиеся, только стойкий загар и жидкие короткие усики, да переменчивость к настроению, как у Елены, что он старался скрыть бравадой, натужным смехом или холодной вежливостью... «Нет, явно не красавец. Впрочем, я видел его дважды за лето», – вспомнил Малявин и, проявляя любезность, спросил:

– Что-то пишет Еремей? Там вроде уже постреливают?

– Это меня более всего беспокоит. На днях получили письмо... Сколько его бранила, казалось, ничего путного не получится из шалопая, а теперь вдруг такая не по годам рассудительность. У вас, Георгий Павлович, есть еще время?.. Вот послушайте:

«...Своеобразие здешней природы, необычность теплого Японского моря и в третий год службы продолжает меня удивлять, как и многое на флотской базе, в самом Владивостоке. Но это удивление уже другого порядка, и о нем можно говорить лишь при встрече.

Числюсь я вахтенным начальником на крейсере “Владимир Мономах”, однако подписан приказ о переводе меня помощником капитана на эсминец “Стерегущий”, что считается повышением по службе. На эсминцах такого класса всего четыре офицера и три десятка младших чинов, круг обязанностей шире, чем на крейсере. Эсминец – это маленькая крепость со своим многохлопотным хозяйством, в кое мне еще вникать, чтоб знание было доподлинным и отчетливым, как и подобает настоящему моряку.

За меня, мама, не беспокойтесь, милость Господа Бога до сей поры не оставляет меня и, надеюсь, не оставит в дальнейшем. В серьезном деле не довелось мне участвовать, но верю в судьбу и свое предназначение».

Она глянула на Малявина, словно бы давая ему, как хорошему актеру, вставить подобающую ремарку, слово одобрительное, нужное именно ей. А ему патетика последней фразы в ту минуту показалась фальшивой, и он отделался невнятным междометием.

– Часть письма пропущу... ах, вот еще интересный пассаж!

«Папа, до меня дошло известие, что у тебя плохо со здоровьем – головные боли, одышка. Уверен, тебе непременно нужно менять свой распорядок дня и не браться с шести утра за чтение распоряжений и жалоб, как это ты делаешь ныне. Тебе необходимо прочитать “Опыт душевной гигиены” доктора Флера. Попробуй сразу после сна заворачиваться в мокрую простыню и делать движения до тех пор, пока хорошо не согреешься. Затем три яйца всмятку, полстакана вареного молока и черный хлеб и непременно прогулка...»

Лицо Варвары Николаевны утратило выражение показной любезности, освежилось улыбкой, размякло, потому что в гостиную стремительно вошел помещик Россинский. «Штабс-капитан запаса гвардии Его Императорского Величества Измайловского полка! – так иногда пулеметной скороговоркой представлялся Россинский и добавлял, если находился среди знакомых: – Вольно! Музыки и цветов не надо».

– Ну наконец-то! – Варвара Николаевна тотчас отложила письма. – Петр Петрович, мы соскучились, ждем не дождемся, когда закончится ваш дачный сезон... Вы знакомы?

– Да. Георгий Павлович, рад вас приветствовать!

– Взаимно, тоже рад встрече. Вашей бодрости, Петр Петрович, можно позавидовать.

– Так я совсем молод, мне нет еще и семидесяти... – Россинский состроил гримасу, давая возможность рассмеяться. Он умел быть веселым без натуги, этот пятидесятилетний помещик. – Съезжу на недельку-другую в поместье, пока стоит ведро, завершу дела, а потом в полном вашем распоряжении, любезнейшая Варвара Николаевна.

– Так вы ненадолго?

– Пробуду в городе пару дней – и обратно... Так что, Георгий Павлович, приезжайте. Уставная грамота и прочие документы по продаже деревни Холопово у меня в Ольховке.

– Я непременно буду. Бывшие ваши крестьяне направили жалобу в столицу, в министерство, как ни странно, она попала по назначению. Мне поручено составить полное свидетельство по землевладельцам деревни Холопово.

– От же бестии... Вы подумайте, что творят! – Возмущение Россинского было, похоже, неподдельным. – Моя матушка, покойная Прасковья Михайловна, намучилась с ними, десять лет тяжбалась...

– Я, к сожалению, должен попрощаться, Петр Петрович. Мне нужно к московскому скорому. Варвара Николаевна, передайте, пожалуйста, Елене, что я заеду в субботу за ней, как обещал.

Извозчицья упряжка с подрессоренной коляской и колесами, ошинуемыми по последней моде резиной, стояла в проулке, примыкавшем к улице Садовой, но самого кучера не было. А до поезда оставалось чуть более двадцати минут. «Вот тебе и выгадал!» – подумал с усмешкой Малявин. В такие дни, когда было много разъездов, он предпочитал брать извозчика на целый день, что обходилось в полтора рубля серебром и было выгоднее, чем искать на улице, а потом платить раз за разом то двугривенный, то полтинник.

– Семен! Эй, Семе-е-он!.. Давай, гони на вокзал! – закричал извозчику издали, не позволяя выговориться. – Где ж ты ходишь? – спросил, когда тронулись.

– Дак забежал к мамлеевскому кучеру Никанору, он давний знакомый. По делу. Разговорились. Набавила ему с этого полугодия Варвара Николаевна, дай бог ей здоровья. Девять рублей теперь, стервец, получает!

– Позавидовал? А у тебя поболее выходит, небось?..

– Правда ваша, но у него девять на всем готовом, а я за коляску плати, за овес, упряжь, тому же кузнецу, а еще налог, будь он неладен!.. А кручусь-то не в пример Никанору, от темна до темна... Завтра изволите? Экипаж куда подать, к гостинице?

– Да, к семи. Поедем за город. Верх не забудь пристегнуть.

Выехали на Центральную, подковы зацокали по булыжнику, и Семен, словно приободренный этим цокотом, подхлестнул коня, пуская легким галопом, и гаркнул оглушительно басом «для настроения», как сам проговорился однажды: «По-оберегись!» И даже не придержал коня на спуске, лишь перед привокзальной площадью осадил лихо на повороте с привычным: «По-оберегись!»

Малявин подхватил картонную упаковку и пошел вдоль состава, высматривая знакомого земца. Искренне обрадовался, увидев его, а более того – самой okazji передать для маленького Андрюши туюсок духовитого липового меда (тетушка писала, что минувшей зимой он сильно страдал от простуды), пару фунтов отборной икры, которую удалось сторговать в этот раз по два рубля восемьдесят копеек, и заводную механическую лягушку-квакушку. Собрал самый минимум, чтобы не обременять малознакомого товарища по службе. Пусть он и говорил, что ему не в тягость, а все же первым делом критически оглядел коробку и расцвел улыбкой, убеждаясь, что в самом деле посылка маленькая.

Малявин раскланялся, распрощался с сослуживцем и вдруг почему-то прямо здесь, на перроне, вспомнил: «Дорог не подарок, дорого внимание». Это простенькое присловье любила повторять мама. Он приостановился, он разом понял, что так тяготило последние дни – годовщина смерти. «А на могилку сходить некому, потому что... Потому что – потому!»

– К Крестовоздвиженской церкви, и помедленней, будь добр.

Семен пустил коня шагом, не спрашивая ни о чем, по голосу угадал, что господин Малявин не в себе. Внешне Семен не показывал, что ему приятен рослый земский чиновник, но для себя его выделял среди прочих ездовых. Другой бы сегодня шум-гам поднял, а он ничего... «Дак я и не знал, что ему к скорому надобно быть», – тут же оправдался по всегдашней привычке. Вчера один чин сунул полтинник и давай стучать по спине, ровно по барабану, да с криком: «Чего медлишь, сукин сын?» А потом ждал его два часа в Затоне. Полтина – дело хорошее, но и уважение надо иметь, хоть ты и высокоблагородие. А Георгий Палыч всегда: «Обедал, Семен? Так езжай, я с часок здесь пробуду...» Эх, жаль, хомут придется сменить: обузили, явно обузили, да и не ложится он ладно Карду.

– А сахар до чего любит, вы не представляете! – выговорил Семен полуобернувшись, не выдержав долгого молчания.

– О чем ты, Семен?

– Кард, говорю, сахар прямо издалика чует. Без сахара выйдете, глазом не поведет. А стоит кусок в карман сунуть, так он, подлец, сразу распознает и ластиться начнет. Вот истинный крест! О-о! Видите, косит глазом, мне думается, он понимает, что про него говорим – такой ушлый.

– Конек у тебя ладный. Масть только странная – мышастый, а с другой стороны, редкость. Семен раззявился в улыбке, словно похвала предназначалась ему.

– Едва сторговал у армейского интенданта. Еще передние бабки были сбиты. А то не укупил бы, нет!

Крестовоздвиженская церковь считалась лучшей в городе по внутреннему убранству, настенной росписи, стояла на месте приметном, высоком, близ крутого правобережья, где река Белая плавной дугой огибала эту возвышенность и ту первую засеку, острог, поставленный русскими казаками. Он не знал, в честь кого поставили они здесь первый крест, но ему хотелось предполагать, что в честь основания своего немудреного, но видного на многие версты окрест поселения.

Малявин заранее настраивался на серьезное вдумчивое поминование, раздачу милостыни, не переставая укорять себя: как же ты так, Гера?.. Заранее винясь перед матерью, уверенный, что она простит, как прощала и раньше. А вот философствовать – не нужно, это не к месту, тут все естественнее, как напиться воды в жаркий полдень, вдохнуть полной грудью спелый октябрьский воздух с пряничным запахом, доносившимся от кондитерской фабрики

сметливого немца Берга, будто знавшего, что он в этот день непременно зайдет в его магазин за конфетами.

Сделал все, что надлежало, заказал молебен «во помин души Екатерины Васильевны», раздал милостыню, сам помолился и выговорил вместе со всеми распевным речитативом Символ веры. Но ожидаемое облегчение не пришло.

Он шагал неторопливо по Знаменской, тихой Александровской и пытался разобраться в недовольстве собой, которое шло, как уже понял, оттого, что не пересилил обиду на брата, не отправил ему примирительного письма, потому что ведь был год-другой, когда любили друг друга.

Тогда их объединило несчастье. «Водяной бес Павла Тихоныча в реку заманил», – говорили старухи, торопливо крестясь. Фраза эта запомнилась, потому что все они долго не могли поверить, что отец – рослый, жилистый, такой сильный – мог умереть в одночасье. Бывало, по осени, когда примораживали землю холодные утренники, он выскакивал из воды на берег, красный, будто после бани, и шумно отдувался, делая приседания, а потом кричал им, пугая: «Сейчас и вас накупаю!» Бежал догонять и, если ловил, подкидывал высоко-высоко, так, что замирало сердчишко.

Ранней весной угодил Павел Тихонович вместе с конем в полынью, провалился под лед. Однако сумел выбраться на берег, добрести до деревни...

Доктор позже пояснял, что если бы влили в рот полстакана спирта или водки да растерли тело докрасна, то жил бы и горя не ведал, а засутились, упустили: закутали в перины, взяли воду греть, за врачом спешно отправили... В итоге – нелепая смерть от переохлаждения, хотя лепых-то и не бывает...

Екатерина Васильевна родилась и выросла в Петербурге, в хозяйство вникала не дальше цветника перед домом. «На мне кухня и дети, остальное – как пожелаете», – говорила она весело и беззаботно, что вполне устраивало Павла Тихоновича. После увольнения из Министерства юстиции он занялся пчеловодством страстно, как умеют увлекаться порой в ущерб всему остальному русские люди.

Десяток-другой ульев в Кринице держали с давних времен, но заболел старый пасечник, и сразу возник вопрос: не продать ли?.. Малявин влез однажды в работу (с пчелками – по-другому он их не называл), да так, что пасека превратилась в хозяйство промышленного образца. Завел обширную переписку, к нему приезжали даже из-за границы, он подолгу спорил с гостями о преимуществах ульев Дадана-Блатта в десять рамок, но с выдвижным дном, как в знаменитых ульях Левицкого. Водил, показывал с гордостью типовой зимовник, ульевую мастерскую с рейсмусовым станком, механической ленточной пилой и разным инструментом, привезенным из Германии... А его почитали за чудака, особенно родственники жены Шацкие, когда он увлеченно принимался рассказывать о сложнейшей организации пчелиных семей, рабочих пчелках, таких крохотных – «десяток тянут на один грамм, а меду натаскивают пудами». Очень обижались, когда Павел Тихонович причислял родственников к трутням.

Пятнадцатилетний Гера после смерти отца почувствовал по-настоящему старшинство свое и, может быть, как никогда, в ту весну и лето любил тринадцатилетнего брата, маму, старого пасечника, угрюмоватого конюха, который шел к нему с заботой об овсе, сыромятной коже, вожжах. Этаким скворчком пытался всюду поспеть, во все вникнуть. Понять, почему еще рано косить сено, зачем холостят жеребцов, как подсчитать урожайность озимой пшеницы и почему обходится пуд зерна...

В разгар лета приехали из Петербурга родственники матери Шацкие. Приехал из Калуги Глеб Тихонович Малявин. На семейном совете решили, что Сергей поедет в столицу определяться в кадетский корпус. Глеба Тихоновича попросили подобрать дельного управляющего. А сам Георгий до последнего, почти до октября, оттягивал отъезд в Чернигов, в гимназию, где не

оценят его мозолей, умения хозяйствовать, а могут принизить, сказать: «Господин Малявин, вы опять не решили уравнение. Останетесь после уроков...»

С братом виделись редко, детство враз отдалилось. Запомнилось, как приехал однажды Сергей в красивой юнкерской форме драгунского полка и первым делом похвастался успехами в амурных делах, приятельством с юношами из знатных семейств...

Брат красивую форму почти не снимал, устраивал скачки, звал куда-то к соседям, где красивые барышни. А он в ту пору пристрастился к биологии, ему теорию хотелось проверить и перепроверить на практике. Но более всего Сергей удивил тем, что исхлестал плетью конюха за охромевшего коня, хотя конюх, любивший и знавший коней, как немногие, не провинился, почему и пришел за расчетом, и даже прибавка к жалованью его не остановила.

Уже будучи адъютантом Петровской сельскохозяйственной академии, откликнулся на просьбы брата, приехал на Рождество в Санкт-Петербург по случаю производства Сергея Павловича в поручики со старшинством по Высочайшему приказу от 1 января 1899 года. Брат огорченно сетовал, что не приехала мама. А он посочувствовал, приняв это за искреннее переживание, увлекся праздничной атмосферой, визитами к Шацким, многочисленным полковым товарищам Сергея... Все же угадал, что Сергею надо покрасоваться новыми погонами, мундиром драгунского Вознесенского полка, и не более того. Может, поэтому не сдержался, перед отъездом упрекнул, что мать для покрытия его долгов продала последние семьдесят десятин пахотной земли. Брат тогда отшутился: с кем, мол, не бывает, непредвиденные расходы...

Сразу после похорон и поминок выговорил резко, зло:

– Если б ты не связался с московской жидовней, с этими социалистами, то ей не понадобилось бы продавать Криницу. И не возражай, да!..

А что он мог ответить? Когда арестовали как зачинщика студенческих беспорядков, пусть он таковым и не был, мама приехала в Москву, чтобы спасти его от суда, от позора. На том единственном свидании в тюрьме уговаривал ее ничего не предпринимать. Но маме мнилось Сибирь, каторга, нерчинские рудники, и она поехала по знакомым, наняла известного и очень дорогого адвоката, передавала деньги для полицейских низших чинов, чего делать вовсе не следовало. Непрактичная, она со страху за него наделала кучу долгов. А тут еще неожиданное знакомство с господином по фамилии Штром, который выделялся в любой гостиной необычайно густым голосом, гордой посадкой головы, профилем патриция, умением подать себя, понравиться неназойливо, с выверенной доброжелательностью, что Георгий оценил, подпал незаметно под его обаяние в те несколько вечеров, проведенных вместе, как бы в семейном кругу, сразу после освобождения из тюрьмы. Правда, тогда он не знал, что мама, оказывается, ждала ребенка от Штрома...

На поминках выпили с братом водки, но Сергей притащил в маленькую квартиру, которую Малявин снимал за два с полтиной на Малой Бронной, вина и закусок, купленных попутно в Елисеевском магазине, и все подливал, подливал в фужеры. После холодной промозглости – отпевали прямо на кладбище – и всех волнений, связанных с похоронами, вино, им казалось, не пьянит.

Отмолчаться бы ему, старшему брату, а не сдержался, напомнил, что от Криницы оставалось уже тридцать десятин лесистой поймы вдоль Исlochи да большой их дом с постройками, требующий ремонта. Сергей, однако, гнул свое: «Ты виноват!» А потом признался, что хотел подать прошение об отставке, а теперь ему некуда приткнуться. Объяснять, почему его перевели из гвардейского полка в Минский пехотный полк, отказался: тебя это, мол, не касается. А родственники, те же перевозносимые им Шацкие – тетка и кузина, успели, нашептали, что Серж угодил под офицерский суд чести, что это позор и могло кончиться скверно.

Когда допили вторую бутылку вина, разговор вовсе стал суматошным.

– Когда я смогу получить половину тех денег, что остались после продажи поместья?.. А то у меня, знаешь ли, долги.

– Недели через две, не раньше. И не половину, а треть. Мальчика я окрестил Андреем и вписал на нашу фамилию.

– Перестань! Так не положено по закону. – Сергей не поверил, с пьяной ухмылкой погрозил пальцем: – Перестань!

– Что значит «перестань»? Вот метрическое свидетельство...

– «Андрей Павлович Малявин, в 6 день сего октября 1901 года», – выговорил заплетающимся языком Сергей. Откинулся на стуле, скомкал свидетельство, с таким трудом полученное в консистории, швырнул на пол.

– Как ты смел? – неожиданно гаркнул он, наливаясь краснотой.

– Тише, Серж, ты не в казарме!

– Сволочь, как ты смел на нашу фамилию... этого выbleдка? Как?!

Георгий ударил его по щеке, вроде бы не сильно, но Сергей вместе со стулом завалился на пол. Вскочил, бросился в прихожую, попытался сорвать с вешалки темняк с саблей, но упал на пол вместе с вешалкой и шинелями.

На шум поднялся хозяин дома и без укоризны, зная о постигшем семейство несчастье, помог перенести взбрыкивающего Сергея на диван.

Утром брат ушел, не попрощавшись, но благоразумия у него хватило не поднимать шум из-за четырех с половиной тысяч рублей.

Господин Штром на похороны не явился, притязаний на ребенка не предъявил, и семи-месячный Андрюша был перевезен в Калугу к бездетному Глебу Тихоновичу Малявину.

А Георгий вернулся в Уралославск и с непонятым упорством взялся «марать бумагу», как сам определил. Ему застило, он не знал, что это будет – исторические очерки или повествование, но работал упорно, стремясь воплотить в нечто вещественное свое давнее увлечение историей Римской республики. Труднее всего было восстановить, сверяясь с первоисточниками, жизнь того времени, предметы обихода, чтобы точно расставить все в комнатах, домах, каменном городе, а затем уже поселить туда свободолюбивых римлян.

Одиночество и самоубийство мамы, похоже, послужили толчком. Георгий там, в Москве, ощутил ее великое отчаянье. Отчаянье брошенной и никому, как ей казалось, больше не нужной женщины. Представил, как она ссыпала в чашку таблетки, порошки, а потом глотала, давилась, запивала водой, потому что по-настоящему любила этого адвоката.

Господин Штром, казалось бы, мало подходил под прототип Марка из семейства Юниев знаменитого рода Брутов, но во внешней красивости, умении говорить, подать себя в обществе таилась схожесть, которую Малявин силился понять.

Глава 4

Помолвка

На заседании управы земский начальник напугал всех фразой: «Я знаю, в Холопове зреет бунт! Необходимо обратиться с письмом к господину уфимскому полицмейстеру». Но коллежский советник Вавилов, прослуживший в земстве почти два десятилетия, урезонил тем, что крестьяне внесли выкупные платежи вместе с податями за первое полугодие.

– Холоповские землевладельцы необычайно хитры, изворотливы, жалобы пишут который раз, – пояснил Вавилов. – Надо лишь поставить жирную точку в этом затянувшемся деле без привлечения полиции. Я с удовольствием бы, да вот спина разболелась. К тому же вы сами понимаете...

Вавилов ждал Высочайшего повеления об отставке и производстве его за многолетнюю безупречную службу в чин статского советника, что дало бы значительную прибавку к пенсии, и он жил теперь одним помыслом: «Вот выйду в отставку!...»

Сообща приняли решение: «Поручить гласному земской управы господину Малявину совместно с мировым посредником Хрусталевым и волостным старшиной Осоргинской волости Скворцовым составить удостоверение с полными данными по благосостоянию крестьян д. Холопово, чтобы подтвердить правильность назначенных выкупных платежей».

Поручение было не по душе Малявину, он предполагал, что за этим кроется обычный произвол властей, что надо бы не деликатничать, сразу отказаться. С другой стороны, вроде бы неприлично с первого года службы переть на рожон.

Хрусталев отказался ехать в Холопово из-за болезни жены, чем немало удивил Малявина, который там ни разу не был...

– Да найдем, – успокоил Семен.

Он привычно балагурил, покрикивал беззлобно на прохожих, и от его бойкой скороговорки, утренней свежести на душе просветлело. Благо что октябрь роскошествовал: утром иней, прохладно, а днем тепло, и повсюду яркие краски озимей, отлакированных изморозью, разноцветье увядающих листьев, блекло-желтые пятна соломы среди густо-черных пашен, дым от костров, суматошная разноголосица сбившихся в огромные стаи грачей. Здесь все было понятное и родное, а город его тяготил, принижал... Особенно большой город. Малявин по сей день помнил, как в Москве жандармский чиновник, подавая вид на жительство, сказал: «От греха подальше». После чего хохотнул легко, по-доброму, но с оттенком снисходительности, чего Малявин не ожидал, на миг растерялся, ответно улыбнулся, за что потом себя же и ругал. Сомнение, жившее в нем, всколыхнулось, он подумал: «Неужели этот обрюзгший жандарм понимает что-то такое, чего не могу уразуметь я – вчерашний адъютант Петровской академии?»

В первый же год купил весьма дешево сто двадцать десятинов земли с пашней и выпасами, чтобы организовать сельскохозяйственную общину. Он себя хотел принести в жертву народу, но оказалось, что жертвенность его не нужна. Мужички из ближайшей Мысовки в аренду землю брать не хотели, отмахивались: «Своих полдюжины десятинов. Вот предложил бы, господин хороший, пару сенокосилок или жнейку, то с радостью».

Обиду таил он недолго, достало ума посмеяться над собой и написать прошение в городскую управу о приеме на службу. Однако мечта теплилась, грела его, и, объезжая уезд, огромной подковой огибавший Уфу, Малявин все высматривал землю под будущее поместье. Ему хотелось недалеко от города, и чтоб непременно рядом речушка или большой пруд. Он знал, что здесь, в Предуралье, не всякая земля подходит под устойчивый сад, поэтому каждый раз заставлял копать ямки в сажень, проверяя, нет ли каменника или карстовых отложений. Брал пробы грунта на анализ. «Да хорошо бы лесозащиту от северных ветров», – пояснял, случа-

лось, Малявин. Знакомых обижала такая дотошность и придирчивость: «Мы-то живем, слава богу, без всяких проб грунта».

Мало того, ему еще подавай родничок, как в Кринице...

Деревня Холопово располагалась на пологом склоне, круто обрывавшемся в полуверсте от реки Дёмы, где обширно простирались заливные луга, перемежаемые отдельными купами раскидистых ивняков, охристыми полосами дубов на заречной стороне.

Первый же «бунтовщик», Фрол Семенов, от жалобы наотрез отказался и подписи своей не признал.

– Так, значит, выкупные платежи внесете в казну?

– А как народ. Я-то что... Я не против, да ведь накладно, урожай нынче плохой.

Так объехали несколько домовладений, натываясь на отчужденность, неприязнь явную или скрытую.

Один дом выделялся в веренице построек красиво обналиченными окнами, высоким каменным фундаментом, железной крышей и размерами – четыре окна смотрели на улицу.

– Да это же дом Клавдия Корнилова, – пояснил волостной старшина Сковорцов, пожилой и всегда чем-то недовольный старик лет шестидесяти, пояснил так, будто все должны это знать.

Хозяин встретил без робости, со спокойным достоинством пригласил в избу, но Малявин отговорился тем, что сначала осмотрит хозяйство.

– Смотрите, мне что, жалко? Я-то навозню расчищаю с младшим.

Все хозяйственные постройки были под стать рослому, большерукому Клавдию. Этим порядком, обилием живности можно бы гордиться, но беспокойство едва заметно проглядывало в хозяине. Согласно описи, составленной волостным старшиной, значилось у Корниловых восемь лошадей, полдюжины коров и два десятка овец, а работников – он сам и трое сыновей, от семнадцати до двадцати восьми лет.

От подписи на жалобе Клавдий отказываться не стал, больше того, пояснил, что так решили на деревенском сходе и уговорили его составить слезницу.

– Чать, обидно. Сколь помню себя – свободу крестьянам, помощь землевладельцам, ссуды беспроцентные... А что на деле? По указу царскому нас от издольной повинности освободили, зато повесили, будь они неладны, выкупные платежи. Отец мой платил, я плачу уж сколь, да еще сынам платить... Вот тебе и свобода!..

Хозяйка обильно заставляла стол едой.

– Домашнего нашего попробуйте, не побрезгуйте. Гости-то, гости!.. Уж чем богаты, – напевала она, расставляя тарелки.

Вошли двое холоповских мужиков – «мы послушать». К столу их Клавдий не пригласил, лишь кивнул одобрительно: усаживайтесь, мол, там.

– Только в горнице чтоб не курили, – пристрожила их сразу хозяйка, сновавшая челноком из левой, рабочей половины дома в чистую. Ей помогала девочка лет восьми.

– Вилку бы его высокоблагородию.

– Так нету, – растерянно раскрылилась у стола хозяйка, – не припасли.

Знал Сковорцов, что нет у Корниловых вилок, но не удержался, потрафляя начальству, подбелдыкнул Клавдия, который вел себя, как ему казалось, больно высокомерно.

– Это тебе, Виктор Алферыч, на казенном-то жалованье что плюнуть вилки купить. А мне все завыка. Все с пашни. Тут десять разов подумаешь, купить новый картуз или в старом походить. Для вас, может быть, одиннадцать рублей серебром пустяк. А вот ему, Ваньке Федорову, каково? Один он работник, а едоков шестеро! Да и мне, и вот им, – Клавдий ткнул пальцем в сидящих, – это посчитайте-ка, вы люди грамотные: тридцать шесть пудов пшеницы вырастить надо, обмолотить да в ссыпку свезти за откупные?..

Он прав был, на все сто прав сметливый мужик Клавдий Корнилов.

– Согласен с вами, откупные надо отменить, но ведь это возможно только по высочайшему указанию.

– Так мы знаем, что царь Николай хотел отменить, министры воспротивились.

– Давайте так порешим. Если Ивану Федорову непосильно в этом году уплатить, так земство может помочь единовременным пособием. Это не повод для отказа от уплаты. Второе. Мы от управы направим прошение в министерство с просьбой отменить выкупные платежи. Согласны?.. Тогда вот лист, вот ручка-самописка. Пиши... Только не дави сильно. «Я, Клавдий Корнилов, обязуюсь полностью внести выкупные платежи за 1903 год».

– Нет, вы погодите. Тут посоветоваться с мужиками надо.

– Вот пусть идут и собирают.

– Так никого не соберешь, такое ведро стоит. Кто в лесу, кто на пажити, что мы у башкирцев арендуем. Смирновы, отец с сыном, на станцию в лавку поехали... Вы нисколько не едите, да что же так? Вот грибочки-рыжики, вот сметанка... Сомятина холодная, это у нас младший расстарался, острожить ходил ночью. Счас я лапши налью.

– Так постный же день, Клавдий?! – спросил с улыбкой Малявин.

– Ниче, отмолим. Мы, ваше высокоблагородие, летом, когда скотину резать жалко, по месяцу без всяких постов постимся. А сейчас работы много тяжелой – земляной, дровяной...

Малявин намазал на горбушку домашнего, хорошо пропеченного хлеба толстый слой сметаны. С удовольствием похрустывая корочкой, как в детстве, вспомнил Криницу, дородную кухарку Христю и ее шепот: «Только матушке с куском не попадайся». С той самой поры не ел, пожалуй, горячего домашнего хлеба. А по избе поплыл запах разопревшей курятины, и хозяйка, искренне радуясь, что хвалят ее и эта похвала через час станет известна всей деревне, поставила большой чугунок на подставку посередине стола.

– А вилки мы купим, это дело нехитрое, – сказал Клавдий. – Вы заезжайте другой раз в субботу, когда жена хлеб пекет... Рады будем. Слыхал я от волостного нашего, что вы ученый по полеводству. Может, подскажите что. Я ведь хоть не больно грамотей, а все зимой книжки почитываю. Вот подбиваю мужиков молотилку купить конную или паровую, как в Осоргине...

В дачное поместье Россинского, которое находилось в семи верстах от города, Малявину удалось выбраться спустя неделю. Погода резко, как это случается в октябре, переменялась, северо-восточные ветры принесли холода, и сразу померкли краски осени, по небу ползли темные брюхатые тучи, готовые разразиться дождем.

Петр Петрович встретил радушно, приветливо, подшучивая:

– Какая досада! Такой бравый жених приехал, а дочерей нет, в город перебрались.

Принес папку с документами, пояснил, что знает об этой тяжбе со слов матушки, Прасковьи Михайловны.

– Я в ту пору служил в полку, навещался нечасто. Знаю, когда был подростком, по взаимной договоренности с крестьянами составили уставную грамоту. Холоповские наши крестьяне прямо-таки рвались приобрести в собственность землю. Затем, когда им отказали в испрашиваемой ссуде, они написали жалобу, что платить выкупные платежи не в состоянии и отказываются от приобретения земли. И пошла писать губерния!..

Малявин быстро пробежал документ глазами, отмечая про себя витиеватость слога, которая уже не в ходу, и нашел то, что ему было нужно:

«...Деревня Холопово отстоит не в дальнем расстоянии от города Уфа, винокуренных заводов и мельницы, где производится значительная закупка хлеба и где есть работники. Губернское присутствие не может не найти быть крестьянам деревни Холопово достаточно обеспеченными для уплаты выкупных платежей, почему и определяет все дело по выкупу деревни Холопово вместе со сведениями, доставленными мировым посредником, представить в главное выкупное учреждение.

Мирового же посредника просить разъяснить крестьянам, что как выкупная сумма по их селению уже утверждена губернским присутствием, то они не могут отказываться на основании ст. 128, 129 местного положения от надела, представленного им по уставной грамоте». Внизу стояла дата: апрель 8 дня 1872 года.

– Так что, должен заметить, шельмецы они еще те. Хоть я не сторонник крайних мер...

Малявин не слушал. Ему стало тягостно-скучно из-за того, что тридцать лет назад жаловались крестьяне, кто-то составлял сведения о благосостоянии: «На каждого работника – две лошади». А вот теперь он должен доказывать, что тридцать лет из года в год они платили за право сеять хлеб на этой земле и пусть дальше платят...

– О-о, какой гость! – вскочил Россинский, расставляя руки. – Да как удачно, сейчас обедать будем.

– Я к вам по делу, – начал было вошедший господин.

– Понимаю, что десять верст не ради обеда ехал. А все же прошу не отказываться. Знакомься, кстати, это земский агроном Георгий Павлович Малявин – первый жених нашего уезда. А это князь Кугушев Вячеслав Дмитриевич – наша местная знаменитость, – добавил Россинский с хитровой усмешкой.

Малявин читал в «Губернских ведомостях» о судебном процессе над князем за связь с социал-демократами. Знал, что он чуть было не лишился богатого наследства, от него отвернулись все родственники... Но почему-то представлял его иначе. Хуже.

Кугушев протянул руку, знакомясь, и глянул открыто, приветливо, с мягкой улыбкой, чуть разве что ироничной: да, мол, я знаю, что они злословят надо мной. Татарская кровь проглядывала в нем едва заметно, он не был черняв, а лишь слегка смугловат, глаза без раскосости, аккуратная волнистая борода.

– Вы, видно, человек приезжий? – спросил Кугушев.

Голос его, колокольчатый, мальчишеский, не вязался с внешностью и тем образом, который Малявин стал тут же додумывать.

– Родом я из Черниговской губернии. Петровская сельскохозяйственная академия в Москве, адъюнктура... Но в 1899 году за участие в студенческих беспорядках выслан сюда вот.

– А я и не знал, – притворно удивился Россинский, – этак и мне придется к партии прибавиться. В эти, как их там... социал-демократы? – Он расхохотался громким, тем своим необидным смехом, который жил в нем постоянно и при малейшем поводе выплескивался наружу. И дочери у него бойкие, смешливые.

– Мне кто-то о вас говорил... Кажется, председатель управы Бирюков... Правильно, Василий Никодимович лестно о вас отзывался. И мой управляющий – Цурюпа.

– Да, он же совсем недавно работал в земстве...

Малявин хотел пояснить, что с Цурюпой спорил не раз и бивал его в полемическом задоре крепко, за что он, возможно, обижается... Но Петр Петрович стал усаживать за стол, приговаривая:

– Прошу. Прошу не чиниться, я тут холостякую. Может быть недосмотр. Рекомендую, настойка ореховая – такой вы нигде не отведаете. Или вам чистой? Хренку, пожалуйста, под ветчину, очень рекомендую при такой промозглой погоде.

Заглянула кухарка, спросила, можно ли подавать зайчатину, и Россинский скомандовал: «Неси, дура».

– Почему «дура»?

– Да не умеет зайчатину приготовить, уж наставлял, наставлял. Я этих русачков подстрелил прямо за огородами в балочке. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Даже не ожидал. Стою, рассветом любуюсь, вдруг хруст. Благо, ружье было заряжено. Я одного срезал прямо с капустным листом, а второго вдогон только ранил, тут уж собачка мне услужила.

При этом он успевал наливать в рюмки, подавать соус, резать мясо и себя похваливать:

– Я ведь все сам: и подстрелил, и освежевал. И в поместье обхожусь, слава богу, без управляющих. От них один разор. Вроде твоего, Вячеслав Дмитриевич, сильно бойкого чернявого, как его?.. Шурюпы. Вот ведь сразу не выговоришь. Занозистый, да и говорун, а что и как лучше посадить на земле-то, не знает. Да и сам ты...

– Укоризны вашей, Петр Петрович, не принимаю. Каждый по своему разумению дело обустраивает, – ответил князь негромко, но спину спрямил, и в лице, глазах промелькнуло что-то сталистое.

«А у кошки-то зубы тигриные», – отметил для себя Малявин и взялся рассказывать, как ездил смотреть землю под усадьбу близ села Мысовка.

– И что же, сговорились? – встрепенулся Россинский и подложил Малявину подрумяненный кусок зайчатины.

– Нет, не решился, что-то на душу не легло.

– Так купи у меня клин за Филоновским лесом, вместе с березовой рощицей. Я ведь даром почти отдаю. А какое место!.. Не понравилось, говоришь? Тогда я уж не знаю! – развел руками с наигранной обидой Россинский.

А Малявин снова стал ему объяснять, что нужна не просто земля, некие уголья, а место под дом, и чтоб по сердцу и у воды...

– Я знаю одно такое место, – сказал князь Кугушев. – Это недалеко, верст десять-двенадцать отсюда.

Малявин по голосу, по тому, как это было сказано, понял, что нужно ехать прямо сейчас, не откладывая на потом.

Гудел, останавливал, похохатывая, Россинский:

– Что ж вы, как печенег, не уйдет ваше от вас.

Они решительно отбились, откланялись, обещая вскоре быть в его городском доме на Садовой.

Кугушев ехал впереди в легкой фасонистой коляске с откидным верхом, Малявин – сзади, в извозничьей. Проехали по Оренбургскому тракту, через узловую станцию, затем свернули на старый, малоезженный Казанский тракт. Когда свернули с тракта на едва приметно набитую колею, обогнули край леса, Малявин аж привстал в коляске: лес дугой огибал обращенный покато к югу клин земли, в низине поблескивала вода – маленькое озерцо, обрамленное осокой.

Стоял серенький октябрьский денек, темнел скучный лес, лишь на дубах трепыхалась грязно-бурая листва, вот-вот мог пойти мелкий занудный дождь, но Малявин смотрел и не мог насмотреться, уже загодя размышляя, где лучше разбить сад, поставить дом, конюшню, где сделать запруду.

– Сколько отсюда до города, не знаете? – будто очнувшись, спросил Малявин князя.

– С версту до тракта, потом верст шесть до станции и еще семь-восемь до переправы...

Кугушевский кучер принес ведро воды, разнуздal лошадь и стал поить, покрикивая: «Не балуй!»

– Господа хорошие, родниковой водички не желаете, а то кружку-то дам?.. Как в котле клокочет!

Малявин заторопился смотреть родник. В ложбине, рассекавшей юго-западную часть склона, пульсировал настоящий ключ, который, похоже, пробился сюда сквозь толщу земли не так давно. Он не успел обрасти деревьями. Дорожка к нему была оттопанной, а кусты старательно вырублены с одной стороны.

Поднимаясь с колен, еще не расплескавший свою огромную радость, он на миг как бы споткнулся, поймав пристальный взгляд. И тут же солнечным проблеском – улыбка и глаза –

сразу не сизые, а голубые, и ладонь, протянутая навстречу, – сухая, твердая, будто липовая плашка в летний день, которую хочется чуть дольше подержать в собственной горсти.

Князь угадал его настроение, принял его искреннюю благодарность и пригласил пересесть в коляску, чтобы спокойно все обговорить.

– Я давно знаю помещика Федорова, это его земли. Могу оказать содействие в переговорах... А то вы, Георгий Павлович, можете не сдержаться со своей радостью, тут-то он и накинёт цену, как узду. Федоров – хваткий помещик. Отец его, Авдон, тут рядышком деревня, выгодно продал вместе с неудобьями. Обманул крестьян.

В осенних сумерках, пока добрались до города, они хорошо побеседовали обо всем, что не касалось политического устройства, чтобы не нарушить настроение и ту радость, которая засветилась в Малявине, которую он и не пытался скрыть. Ему хотелось все начать прямо со следующего дня.

Эта радость его окрылила, что вскоре почувствовали знакомые, главное – Елена. Она уже не запрещала ему бывать в манеже кавалерийского полка, входившего в Оренбургское казачье войско, которым командовал ее крестный – полковник Батьянов, и где она давно уже занималась конной выездкой с элементами вольтижировки. Ее, конечно же, в полку хвалили с привычным мужским превосходством, пытались ошеломить дешевой гусарщиной, пока она не ожгла плеточкой одного слишком нахального ухажера.

Малявину такое было непонятно, но у него достало характера не показать удивления, принять все как должное, и Елена как-то под настроение сама рассказала, что папа ее сосватал в члены попечительского совета общества Красного Креста. Она часто бывала в полковом лазарете, носила подарки к праздникам рядовым, но эта умильность быстро наскучила, ей нравилось больше бывать на полковых смотрах в летнем лагере, куда разрешал приезжать крестный, чтобы посмотреть на лихую джигитовку, рубку лозы, призовые скачки...

– Вот люблю, и все тут. Мне нравится припасть к лошадиной гриве, слиться с лошастью в единый комок в размашистом намете, чтоб аж задохнуться от встречного ветра... Хотите попробовать? У меня смирный конь.

Он тогда не рискнул, отшутился, хотя юношей немало ездил верхом, но простодушно, без выучки. И правильно сделал, что понял чуть позже, когда оказался рядом полковник Батьянов, с которым его познакомили в доме Мамлеевых. Он покрикивал на Елену, как на рядового казака.

– Рысью с места арш!.. Голову держи, держи... Правую руку свободней, опусти совсем. Кру-угом! Шенкеля нужно подвязать покороче, Елена Александровна. Что, напугал я тебя? То-то же. Ты им, этим лодырям, – Батьянов рукой обводил всех, кто подворачивался в тот момент, – нос утереть должна. А то вон корнет один после училища, а сидит на лошади, как собака на заборе.

Фамилию он не называл, но все знали, о ком идет речь.

Это по рекомендации полковника Батьянова Малявин, втайне от Елены, стал брать уроки верховой езды. В первое воскресенье, к двенадцати, он приехал в манеж и до пота, с десятков раз пытался прилично вскочить на коня сначала под присмотром усатого молчаливого вахмистра. Первым не выдержал старослужащий, выговорил торопливо:

– Да посмотрите, посмотрите... Руку сюда, и – готово.

Весу в нем было без малого шесть пудов, но в седло вскакивал легко, казалось, без всяких усилий, и Малявину захотелось научиться вскакивать на коня именно так, по-казачьи, едва коснувшись стремени.

И рысью, как выяснилось, он ездить совсем не умеет. Когда стало получаться, что почувствовал сам, то на радостях после урока пригласил ротмистра в ресторан пообедать.

– В ответ на колкости и замечания вы, Георгий Павлович, решили меня отравить?.. Но я все равно согласен. Так уж и быть, променяю жизнь на рюмку водки, а то бр-р-р!

Позже, когда выяснилось, что Елена давно знает об этих уроках, они долго смеялись, перебивая друг друга: «А я-то!..» – «Мне было так неловко». – «Но ты хорош!»

Тогда же Малявин проговорился, что намерен завести такого коня, чтоб он годился и для верховой езды, и в упряжке.

Елена обрадовалась, тут же стала давать дельные советы, рассказала о ценах, что лучше бы купить у знакомых... Но их у Малявина, похоже, было немного. Решили в ближайшее воскресенье поехать на Шакшинский конезавод, посмотреть, прицениться, да и просто развеяться, прокатиться в саночках.

Его удивило, как она, городская барышня, умело ценит лошадей, как умно судит об их достоинствах. Пересмотрели дюжину пятилеток: то масть не нравится, то холка просажена. К статному саврасому коню начали было прицениваться, но, когда вывели на пробежку, оказалось, что засекается в ходу.

Поначалу показывал сын управляющего, парень хоть и молодой, но деловитый, серьезный. Затем пришел сам управляющий. Елена, нимало не смутясь, спросила: «Что, приличного коня нет в заводе?» Он тут же подозвал конюха, переговорил с ним по-свойски, и через несколько минут тот вывел во двор рослого коня вороной масти с шелковисто поблескивающей шерстью, и конь этот монументально смотрелся на белом снегу. Елена шепнула: «Такого можно брать».

Вслух же нахваливать не стала, углядела белую отметину на правом боку, посетовала, что круп висловат... Конезаводчик не выдержал, выговорил басом, едва сдерживая раздражение:

– Да будет вам, уважаемая! Бурун – это будущий призовой конь. Вы посмотрите голову, линии спины, ноги... Посмотрите! Эй там! – крикнул он сердито. – В манеж Буруна, быстро!

Но все же двадцать рублей Елена уторговала и радовалась этому необычайно. Смеялась:

– Он и правда подумал, что я ругаю такого красавца. Рассердился.

От мороза, смеха, своей озорной деловитости была необычайно хорошенькой, а Малявин все не решался ее поцеловать, и если бы она не сказала: «А вот этого делать не надо», – став на миг кокетливой, милой женщиной, то, может быть, не решился.

Что с весны возникло исподволь, то разгораясь, то исчезая совсем, прорвалось с необычайной силой.

– Меня это даже пугает, – призналась Елена. И тут же, помедлив, произнесла раздумчиво: – А может, так и надо? То ждем неусыпно, то пугаемся собственного чувства... Так ведь не должно быть?

– Я сам такой, – ответил Малявин. – Слишком рассудочен, отчего скучноват временами, как ты верно подметила.

– Нет, ты сильно переменился в лучшую сторону. Похоже, я тому виной. Похвали меня, пожалуйста. Скажи, что я поглупела в последнее время, это будет лучшей для меня похвалой. А то ведь и дома, и в письмах: «Ленушка, ты мало теперь читаешь хороших книг. Лена, мне не нравится твой расхлябанный слог в последнем письме, и не забудь уточнить в училище, что предстоит пересдавать осенью шалопаю Еремке». И я выжимала из себя умные письма. Я в двадцать лет, как дебелая матронесса, беседовала строго с любимым братцем Еремушкой, спорила с репетиторами из-за цены...

– Милая Елена, а я-то, как я себя держал в Москве! Я, подобно одному из литературных героев, готов был спать на гвоздях – и никаких женщин. Так я прожил до двадцати четырех лет, а потом...

– Продолжай, прошу тебя.

– Потом... Это было перед самым окончанием академии. После ужина в ресторане я подхватил какую-то проститутку, пожалуй, первую, какая подвернулась на Тверской... Был крепко пьян, и это вышло вовсе мерзко, неопытно.

– Ох, бедненький, она тебя погубила! – полушутя-полусерьезно выговорила Елена.

Они с деловой озабоченностью размышляли, каким должен быть дом близ Авдона, и мелькало мечтательно: «Обязательно с мезонином... и с зимним садом, и чтобы теплая конюшня».

Помолвку назначили на конец февраля, перед Великим постом, что, по мнению соседки Прасковьи Михайловны, считалось хорошей приметой, особенно если свадьбу сыграть на Красную горку.

Приглашенных было человек пятнадцать – только близкие родственники, соседи – Россинские, крестный, ставший в Новый год генералом, отчего его бас, казалось, стал еще более оглушительным, председатель земской управы Бирюков. От прекрасного обеда, доброжелательности, которую без натуги умела создавать Варвара Николаевна, вежливой предупредительности, от шампанского, выпитого в жарко натопленной комнате, когда на улице пуржит, окно в морозной завеси, возникло ощущение настоящего праздника. И подумалось Малявину, что пусть он в свои тридцать не богат, как Россинский или князь Кугушев, но все же признан здесь и уважаем.

Вот и Александр Александрович посматривает с доброй улыбкой, что-то хочет сказать. Он несколько суховат, излишне строг ко всем и к себе тоже, о его честности, которая кажется некоторым подозрительной, ходят в Уфе легенды. Как и о несговорчивости, когда речь заходит о благоустройстве городских улиц, налогах, делах попечительства. Четырнадцать лет бесценно прослужить городским головой – это в Уфе впервые, и это сказывается на облике коллежского асессора Мамлеева: в пятьдесят пять лет смотрится стариком.

Елена, он уже подметил, чем-то недовольна, хотя старается улыбаться гостям. Перед обедом вышел нелепый спор, он ответил ей на какую-то реплику, что скучают обычно люди неумные, потому что полезных занятий мильон, было бы желание.

– А я вот часто скучаю и, выходит по-вашему, глупа?

Он стал оправдываться тем, что нельзя все принимать так прямолинейно, уговаривал не обижаться.

– Я не обижена, нет. Я сама знаю, что не очень умна. Так ведь и ум бывает разный, а женский ум – тем паче. Впрочем, пустое. Налейте еще шампанского. Ох, гулять так гулять!

«Она не любит меня!» – вдруг неожиданно возникла мысль. – Она, похоже, лишь играет в любовь...» Но вздуматься в это и понять Малявин не успел. Из-за стола поднялся Александр Александрович, и разноголосица постепенно утихла.

– Георгий Павлович, Елена, дорогие мои, будьте счастливы, потому что у вас есть все, чего вы ни пожелаете, – здоровье, молодость, любовь. Будьте счастливы на радость нам всем!.. Прошу всех, всех! И вы, Екатерина Семеновна... Хорошо, хоть тебя, Петр Петрович, не нужно уговаривать.

– А я обижен, ты разве не заметил?

– Это почему же? – искренне удивился Мамлеев.

– Сосед называется, эх! Увели из-под носа жениха... – Остальное Россинский довершил мимикой.

– Ничего, Петр Петрович, у тебя есть шанс отомстить. В июне Еремей обещал в отпуск приехать. Так и быть, составлю протекцию твоей Верочке.

Верочке – девятнадцать. Дочь Россинских. Сделала вид, что смущена, а сама ткнула тихонько локотком в бок младшую сестру.

Через два дня после помолвки в Уралославск пришло известие о героической гибели эсминца «Стерегищий»...

Малявин первым делом прочитал раз и другой фамилии офицеров, погибших в бою, и облегченно вздохнул. А затем уже стал читать газетную заметку о неравном бое эсминца против четырех японских кораблей, который продолжался более часа. «Эсминец прекратил огонь, когда пал у орудия последний русский артиллерист. Убедившись, что на русском корабле

некому продолжать огневой бой, японские эсминцы подошли к “Стерегущему”, чтобы завести буксиры... Но два чудом уцелевших в трюме моряка, Бахарев и Новиков, открыли кингстоны. Японцы спешно покинули тонущий корабль...»

Глава 5

И дом с мезонином

Масленицу встречали и провожали натужно, словно по устоявшейся привычке. Даже Россинский, пригласивший Мамлеевых на блины-беляши, которые дивно пекла его кухарка-татарочка, да на обязательную стерляжью уху, долго не мог расшутиться и лишь после двух-трех рюмок настойки разогрелся, прорвался сквозь общую суховатую любезность. Рассмешил всех рассказом о молоденьком офицерике, зачистившем к ним в гости.

– Спрашиваю его на прошлой неделе: «Кто же вам, уважаемый, более симпатичен – Верочка или Лидуся?» Молчит. Покашливает. «Извините, но...» – только было начал я укорять, а он: «Мне обе нравятся». Я так и присел. Говорю: «Так ведь грешно!» А он в ответ: «Прошу извинить...» И к выходу. Вызываю дочерей, спрашиваю этак строго: «Вера Петровна и Лидия Петровна, за кем ухаживает этот странный корнет?» Младшая отвечает: «За обеими». А старшая следом: «Что вы, пап, так нервничаете? Живут же татарки втроем с одним мужчиной».

Вера попыталась возразить, что она ответила несколько иначе, но ее заглушили дружным смехом. Смеялись до слез все, кроме натужно улыбавшейся Варвары Николаевны.

Александр Александровичу вскоре после известия о гибели эсминца «Стерегающий» передалась тревога жены, однако он привычно бодрился, сетовал на ее излишнюю мнительность. Потому и согласился прокатиться малым санным поездом, как это делали обычно. Да и кучера обижать не хотелось. Никанор расстарался, будто соревнуясь с кучером Россинского, украсил санки лентами, бумажными цветами и все поглядывал на окна, проминая в проулке застоявшихся лошадей.

Поехали к Оренбургской заставе, где ежегодно на пологом спуске устраивались ледяные раскаты, выставляли ларьки с разным мелким товаром, сладостями. Здесь катали господ сноровистые бойкие саночники, барахталась детвора с визгом, смехом, а то и слезами, похожими на первую мартовскую капель. Правее, на крутояре, катались самые лихие – все больше молодые крепкие парни да иной раз подвыпившие мужички.

Смотреть на них – и то дух захватывает. Вот один одернул тулупчик, шапку заломил и с посвистом вниз покатился. Устоит на ногах или нет?.. Пискнула от страха Лидуся Россинская: «Ой, расшибется!» А парень выскочил из сугроба, хохочет, виду не показывает, что ушибся, что набился колючий загрубелый снег под рубашку. Другой все примеривался, а решиться не мог, пока не поддала ему в спину подружка, и полетел он вниз, шлифуя новыми штанами лед, под озорное: «Га-а, ухарь!»

Санки мигом окружили со всех сторон лотошники. Приметили городского голову.

– Александр Алексанч, мой попробуйте! Мой!.. Миленький, дорогой, ну хоть отщипните... Варвара Николавна!..

Пробует Мамлеев и у тех, и у этих – хвалит. Да разве у всех перепробуешь! Всем лестно: «Сам господин Мамлеев похвалил наши блинцы».

– Трогай, Никанор. Да на спуске смотри... – как всегда наставляет Мамлеев.

По заснеженному руслу реки несутся две тройки хвост в хвост. Стелются кони в снежном облаке, и хочется гаркнуть Георгию Павловичу: «Ну, прибавь, милый, прибавь!» – неизвестно кому и зачем, а вот хочется, так что он даже привстал, чтобы лучше все разглядеть.

Тройка с мощным каурым коренником подалась на чуток, на полголовы вперед и пошла, пошла, подбадриваемая криками с правобережной стороны.

– Купца Шапкина тройка, – поясняет Никанор, и спорить тут с ним бесполезно – мужчина он приметливый, цепкий.

- Это какого же Шапкина? – спрашивает Мамлеев.
- Старшего. У него мукомолка в слободе.

И Мамлеев сразу припомнил, что зовут его Семеном Петровичем, что он человек видный, породистый и купец тароватый...

Никанор упредил в этот раз, подхлестнул лошадей сразу после свертка к реке, обогнал упряжку соседей. Полетела снежная пыль, комья из-под копыт, а сзади свистит, орудует кнутом кучер Петра Петровича, и он сам, прикрыв перчаткой лицо, кричит что-то им вслед. Елена Александровна отзывается звонко: «Наш приз, наш!..» Смеется так заразительно, что Варвара Николаевна отмякла, смотрит на молодых с улыбкой, будто хочет сказать: «Ну, дай-то вам Бог».

Сибарит, пустомеля на погляд Петр Петрович Россинский, но именно он между кофе и шахматами подсказал Малявину, что возить строевой лес лучше по снегу, пока не ростеплело. Дельная мысль. Это Малявин быстро оценил. От станции Трепет восемь верст, а бревна шестиметровые, тяжеленные.

Подрядчика порекомендовал земский начальник Вавилов, он знал почти всех в уезде, да и в городе. Звали мещанина Игнатом Епифановым. Первым делом напросился Игнат отобранный лес посмотреть. Цилиндрованные сосновые бревна выходили дороже, но тут уж Малявин решил не скупиться, а сэкономить на чем-то другом. Игнат Епифанов лес похвалил, с таким, мол, и работать приятно, но цену назначил высокую.

- Дорого. Найму тогда плотников в Авдоне, – заупрямился Малявин.

– Знаю авдонских, – ответил Игнат, не моргнув. – Братья Моховы, Гридин, Федоров. Они курятник-то ладный поставить не могут. Дело ваше. Я же своим людям цену знаю, могу уступить лишь по гривеннику за венец.

Уговорил, пересилил своей напористостью, хваткой Игнат Епифанов. Ударили по рукам.

Планы Малявин сам вычерчивал и по многу раз переделывал то один, то другой узел, чтобы при меньших затратах удобно расположить комнаты, просторную прихожую, зал-столовую, а ванную – непременно с водогрейным котлом и прямоточной канализацией. Взялся было за составление сметы, но увяз: разброс цен велик, да откуда еще везти, да разные скидки, если оптом берешь. И много других заковыристых вопросов. Гвоздей только требуется полдюжины наименований, а досок и того больше – дюймовая, обрезаная или необрезаемая, шпунтованная, струганная или нет, да порода: где-то лучше сосну, елку, а где-то – дуб, клен... Голова кругом. Взялся просматривать отчет губернского статистического комитета, а мысли – о разбивке сада: как бы десятка два морозоустойчивых саженцев прикопать, или до осени подождать?

Елена Александровна в обиде.

– Если вам скучно бывать у нас, то не невольте себя... Опять – подчеркнутое «вы», колкости.

- А что с глазами?.. Бражничали с приятелями? Мы из-за вас опоздаем в театр!

Малявин оперетту не любил, не понимал, но надо ехать, раз пообещал. Александр Александрович, угадав его настроение, негромко подбодряет:

- Зато там, Георгий Павлович, хороший буфет.

Малявин ответно улыбается, рад проблеснувшей мужской солидарности, которую не предполагал в суховато озабоченном градоначальнике.

31 марта в дом на Садовой принесли телеграфное сообщение о героической гибели лейтенанта Еремея Мамлеева. Тогда же впервые вырвалось у Елены: «Я им этого не прощу!» Слова эти припомнили много позже, когда она уехала, оставив письмо:

«Дорогие мамочка, папа! Я знаю, как вам тяжело, но не могу поступить иначе. Еду сначала во Владивосток, а затем – в Виндамадя, где находится Уфимский полк в составе Орен-

бургского казачьего войска. Буду добиваться зачисления в действующую армию. Непременно побываю в Порт-Артуре, что осталось из вещей нашего Еремушки, соберу, они ведь дороги памятью о нем, я это хорошо понимаю.

Очень надеюсь на помощь крестного. За меня не беспокойтесь – это единственное, о чем я могу умолять вас в этот страшный для нашей семьи год.

Поклон от меня всем знакомым и Малявину в том числе.

Бесконечно любящая вас Елена».

Георгия Павловича слегка кольнуло «и Малявину в том числе». Сразу припомнился недавний спор из-за Порт-Артура, ставший причиной ссоры.

– Нам еще в Африку нужно влезть, – сказал тогда Малявин с тяжелым, давно обдуманым сарказмом. – Миллионы неосвоенных российских десятин пустуют, а наш славный царь-батюшка решил обзавестись титулом Маньчжурского, удобрить азиатские поля русскими костыми.

– Они гибнут не за царя-батюшку, как ты, усмешничая, говоришь, а за Отечество.

– А ты, милая Лена, хоть представляешь, где это находится? Это неделя езды скорым поездом, потом несколько суток плыть через два моря, это тысячи верст. Ради чего?

– Ради будущего России. И плохо, что ты этого не понимаешь! – резко ответила Елена, готовая уже наговорить дерзостей.

– Увы, я не понимаю, – сказал он примирительно, – как можно лезть в чужой огород, не возделав собственного. Ни мощеных дорог, ни благоустройства городов... Зато много крейсеров и эсминцев, а каждый обходится в миллионы рублей! И это все деньги простых русских мужиков и баб.

– А в чем же тогда, по-твоему, состоит величие нации?

– По-моему, в науках, искусствах.

– Но разве можно, не будучи великой, размашистой державой, создавать великое?

Малявин ничего не ответил, лишь подхлестнул коня на выезде из темноты и сыри овражной на авдонский сверток, от коего до поместья чуть больше версты. Конь охотно перешел на легкий галоп, учуяв запах свежескошенной травы, дыма, а значит, и близкого отдыха.

Лоснились потные спины плотников, вздымалось толстенное бревно, перехваченное веревками. Ярко блестела на солнце свежая щепка, Игнат Епифанов зычно, с потягом командовал: «Над-дай! Еще над-дай!» Пузырилась его кумачовая, выгоревшая на солнце рубаха, кособочилась от ветра светлая борода.

Увидел, или плотники подсказали. Сделал вид, что обрадовался.

– Как кстати, Георгий Павлович! Нужно последние потолочные балки перевезти от Трепета, а у меня деньги вышли. Под огорожу столбы смолить или нет? В таком разе еще вар нужен...

– Ты осмотришь тут пока, я быстро. Красиво ведь?..

Елена отмолчалась, а он заторопился к дому, который вынынчивал старательно. Ему суток не хватало на эти бесконечные хлопоты, порой даже в ущерб службе в земстве. Подрядчик – мужик дельный, знающий, нет слов, но хапужист, и хочется ему побыстрее, поэтому гнет свое: «Зря беспокоитесь, Георгий Павлович, все будет как картинка...» А лестницу на два вершка обузили, фундамент под печь сразу не выложили. А главное – конопатка стен, как подсказал ему сведущий земский люд. Не дай бог, плохо пробьют – стена промерзнуть станет.

Когда заканчивали сруб дома, понял Малявин, что денег не хватит, занял под жалованье на год вперед, чтоб купить кровельного железа, краску, связать на заказ рамы-двери. Но разве все учтешь по неопытности: там полтинник, там сто рублей, и так каждый день, деньги прямо-таки просачивались сквозь пальцы, что было для него мукой, но сладкой мукой, потому что мог

сказать: «Я хочу! Хочу высокое крыльцо. Хочу лестницу в мезонин в три уступа, а ограждение на балконе – из точеных балясин... Как в Кринице», – добавлял тихонько.

А Елена видела лишь измочаленный груженными подводами склон с глубокими колеями, груды бревен и досок, кучи стружек, отвалованной земли, траншеи. Она оживилась лишь у родничка, где умылась, попила воды, восклицая: «Ух, какая холодная!» – но у коляски, оглядев все это, спросила:

– Ты действительно собираешься жить здесь круглый год?

Будто под дых ударила. Он сразу не нашелся с ответом, лишь смотрел на женщину в шляпке с траурным крепом, темном платье, что необычайно красило, оттеняло ее светлые, с рыжеватинкой волосы, белоснежную гладкую шею, которую так хотелось огладить рукой, губами, а сейчас вдруг захотелось прижать всей пятерней... Он лишь сглотнул комком застрявший в горле воздух и крупно, чуть клоня вперед корпус, зашагал к дому – отдать последние распоряжения и еще раз придирчиво оглядеть будущее поместье.

Дом стоял, поблескивая свежей краской, белоснежными рамами, лобовыми досками крыши, украшенной флюгером с размашистым вензелем «М». Уже топилась печь, чтобы дом просыхал изнутри, и самое время нанимать столяра, маляров, а он все не мог решиться использовать часть опекунских денег. Два года назад Малявин, словно по наитию, выгодно прикупил на них акции новой русско-бельгийской компании, получившей в тысяча девятьсот пятом году крупный государственный подряд на строительство железнодорожной ветки на Саратов. Компания теперь сама скупала акции с повышением в сорок процентов... Однако нашлись люди, подсказали, что их курсовая стоимость через год увеличится вдвое.

Можно было занять денег у Мамлеевых, они с радостью бы ссудили, но когда приехал в дом на Садовой, то язык не повернулся. Встретила Варвара Николаевна, сильно постаревшая за последний год, с тихими жалобами на болезни, которые словно бы копились полста лет и вот разом полезли наружу, с сетованиями на отчужденность мужа, погоду, прислугу. А ему нужно было поддакивать, что-то спрашивать. Благо, что вскоре пришел с прогулки отставной ныне градоначальник Александр Александрович.

Они жили теперь воспоминаниями, письмами, переправленной из Владивостока посылкой с парадной формой, обиходными вещами и дюжиной книг – все, что накопил двадцатипятилетний лейтенант Еремей Мамлеев, совсем неприметный, славный человек, настоящий русский моряк. Он слушал сбивчивый торопливый пересказ со слов очевидцев, как был убит попавшим в грудь снарядом капитан Юровский, иссечен осколками инженер-механик Дмитриев, как раненный в обе ноги Еремушка стрелял из митральезы – «это у них орудие такое» – с палубы уходящего на дно эсминца...

«Бог ты мой! Но зачем, ради чего?» – хотелось воскликнуть Малявину. Но отмолчался, чтобы не обидеть родителей, лишь вздыхал, стискивал до хруста ладони и не понимал, что и ему самому можно задать вопрос: зачем ты купил землю, строишь дом?.. Зачем?

– Георгий Павлович, пожалуйста, не забывайте, навещайте, – приглашал Александр Александрович слегка заискивающе, что не вязалось с его суховато-строгой манерой общения, выверенными интонациями в голосе.

– А то перебрались бы к нам на зиму. Второй этаж пустует, а вы в гостинице маетесь, питаетесь как попало...

Ему невозможно было сказать «нет», как намеревался. Однако короткие, похожие на реляции письма Елены он также выслушивать не хотел, в них мнилась укоризна, предназначенная ему, только ему, что лежало в сфере подсознательного, как и мысль об отпуске, которая возникла именно при прощании с Мамлеевыми.

Председателю управы Георгий Павлович так и объяснил, что нужно ехать по опекунам делам в Калугу.

– Ну, конечно, конечно, какие могут быть препоны, – заторопился подписать прошение Бирюков, словно бы извиняясь за то, что сам не предложил пойти в отпуск, а теперь вот рад исправить ошибку.

Малявин неспешно шел по Центральной в сторону гостиницы «Урал», оглядывая витрины магазинов, прохожих, особенно женщин, их в последнее время он как бы не замечал. Одна весьма хорошенькая девушка смутилась под его взглядом и улыбки сдержать не смогла, что его порадовало мимолетно. Решение ехать в Калугу сразу освободило от пут, которыми он себя захлестнул. Дядю хотелось увидеть, Андрюшку... «Как он там, сирота?» – проговаривал жалобно, хотя знал, что с приемыша там пылинки сдувают.

– Георгий Павлович! День добрый!

Малявин невольно вздрогнул. От коляски шел к нему князь Кугушев и улыбался, как старинному другу.

– Давно хотел вас видеть.

– Я тоже рад встрече, – ответил Малявин не совсем искренне и пожал протянутую ладонь.

– Как поместье? Будете строиться?

– Я заложил там частично сад, построил дом. Остались отделочные работы... – Он чуть было не сказал: да вот денег не хватило.

– Что вы говорите! Не ожидал. Мне приходилось перестраивать дом, знаю, как это хлопотно.

У Малявина посветлело лицо от улыбки, от похвалы князя, который все же замечательный человек, что бы там про него ни говорили.

– Вы не торопитесь?.. Ах, в отпуске! И когда едете в Калугу?.. Вот и прекрасно. Я почти год не был в Уралославске... – Кугушев глянул пытливо, как бы проверяя, знает или нет Малявин о его ссылке. – Давайте пообедаем вместе. Приглашаю в гости. Георгий Павлович, посмотрите мое поместье. Может, что-то понравится, а? Ну же, не отказывайтесь, прошу вас. Прямо завтра, да?.. Тогда в двенадцать коляска будет у гостиницы.

Малявин собирался сделать покупки в дорогу, съездить в Авдон, в поместье, где теперь хозяйничал старый Михеич. Но князю трудно было отказать, да и лестно. Все-таки княжеский род, владеющий и поныне большими земельными угодьями в губернии. «Хотя, конечно...» – но не стал додумывать возникшее. Согласился.

Жил Малявин в небольшом спаренном номере в самом конце коридора на третьем этаже, с окнами, выходившими в тихий проулок, обсаженный липами. Липы зацветали в июне, чуть раньше, чуть позже, но цвели каждый год, и надо было лишь перегнуться через подоконник, чтобы нарвать пригоршню крылатых соцветий. Что он и делал порой, потому что из всех медов Павел Тихонович – папа, которого ему недоставало и теперь, – всегда ставил на первое место липовый и по качеству, и по силе лечебной, что запало ему с раннего детства, как и сам этот запах неброский, слегка сладковатый.

Поглядывая через окно на аккуратные, словно подстриженные деревья, он был уверен, что заведет образцовую пасеку, тем паче близ Авдона массивы липняка. И думалось: странно, обиход русского простолюдина – ложки-миски, лапти, веревки, детские игрушки, кадушки и самое лучшее угощение за столом – все шло от липы, а воспевали березу и заламывали на венки березу. Что за этим – хозяйская рачительность, а отсюда запрет, некое табу?.. Или, наоборот, люди чурались практицизма, когда душа тянулась к песне?

Вещи уложены, увязаны, все проверено дважды, а до поезда еще почти два часа томительного ожидания, когда даже газета вываливается из рук и наплывают снова и снова будора-

жащие: «А вот приеду да скажу, а он ответит. А потом!.. Или вот встретят, а я им...» И так оно крутится, и рука невольно вновь тянется к кармашку для часов.

Малявин вышагивал по номеру, посматривая через окно в проулок, куда должен был подъехать извозчик. Ему не сиделось, он тяготился еще и оттого, что не сумел отказать Кугушеву, не отверг решительно его просьбу. Это не соотносилось с обычным страхом, боязнью, это было недовольство собой, близкое к раскаянию, что, как и шесть лет назад, когда попросили прочитать на студенческой сходке громким лекторским голосом воззвание, которое не составлял и не писал, он не сумел отказать.

Увесистый крутобокий баул, как португеей перехлестнутый ремнями, стоял по-военному грозно у двери, напоминая о слабости, которую допустил, и почему-то не верилось, что в нем всего-навсего запрещенная литература, как разъяснил князь Кугушев, давая краткие наставления в насмешливо-ироничной манере: «Нет-нет, бомбу я туда не сунул, не опасайтесь... И человек вас непременно встретит в Москве, он сам зайдет в купе и скажет без всяких паролей просто и понятно, что я, мол, от Вячеслава Александровича... Не хмурьтесь, Георгий Павлович, все просто, как дважды два, уверяю вас».

– Давайте же обнимемся на прощание.

Обнялись, дружески распрощались, хотя буквально час назад, разгоряченные вином, спорили резко, непримиримо.

Такая непримиримость возникла у Малявина не сразу, это пришло постепенно.

Здесь, в российской глубинке, на стыке Европы с Азией, он долго пребывал в разладе с собой, ему мнилась неприязнь со стороны людей и даже, как вписал он на полях тетради: «Я кожей своей ощущаю усмешку Всевышнего». Случалось, когда пылил на тарантасе по Староказанскому тракту в город или объезжал крестьянские хозяйства по делам земства, или читал запрещенную, отчего и притягательную литературу, перед ним возникало, то исчезая, то смутно прорисовываясь вновь, огромное, как облако, усмешливое лицо. А потом, словно пробудившись от сна, Малявин вдруг понял, что вся эта теоретическая заумь социал-демократов хила, никчемна рядом с сермяжной российской правдой.

В той же агрономии, где навыки отшлифовывались веками, где на первый взгляд все так просто, циклично: земля, зерно, солнце, вода – он, не зная кислотности почвы, содержания гумуса, влаги, воздерживался от рекомендаций, если даже заседали настырно. А в политике каждый недоучившийся адвокат мнит себя Наполеоном, поучает, о крестьянстве слезы льет. Это его раздражало, понуждало ввязываться в полемику с однозначным: да уймись же вы!.. Потому что сам уже не идеализировал народ. Добывая пропитание службой в земстве, каждодневным трудом на опытной участке, в саду, углядел, как ему казалось, что совесть, сострадание к ближнему и неискоренимый поиск идеала в земном или божественном присущи большинству людей, но находятся в зачаточном состоянии. Поэтому должно главенствовать нравственное начало, а экономика и политика – это лишь передаточные шестерни, колеса. В этом, твердо решил он, и есть важнейшее отличие этического социализма от всех прочих разработок государственного устройства России на демократической основе. Но произойдет это, безусловно, не скоро, это следующий виток в развитии человечества, на вхождение в который потребуется не меньше сотни лет, потому что одни пребывают в полускотском состоянии с единственным страстным желанием набить брюхо, другие на пороге ада создают кастовый бандализм, чтоб подчинять и убивать себе подобных, третьи мечутся на перепутье, и лишь немногие возвысились до обретения Бога в душе своей.

Для Малявина это стало весомым доводом в спорах с революционерами разного толка.

– Народу-то как раз нужен этический социализм, только он даст положительный результат в такой стране, как Россия, где даже революционерами становятся не по убеждению, а от истовости или слепой фанатичной веры, доходящей до крайности во всем и особенно ярко пыхнувшей террором народовольцев...

– Так вы себе же противоречите! – взялся возражать ему в тот тихий августовский вечер тридцатилетний Петр Цурюпа, вечный студент, но истинный марксист, как называл себя этот чернявый низкорослый мужчина с грустным лицом, около года прослуживший статистиком в уфимском земстве. – Демократических преобразований жадете, но не хотите бороться за них, выйти на баррикады.

– Глупее придумать ничего нельзя, – несдержанно ответил Георгий Павлович и тут же попытался улыбкой приглушить резкость. – Вы похожи на чудаков, которые ради ведра ухи ломают запруду, спускают всю воду.

– А вы!.. Вы просто боитесь утратить привилегии, боитесь крови людской, а без нее нельзя очистить страну от монархической скверны.

– Ничего не бояться только безумцы, а нормальному человеку свойственно бояться выстрелов, крови, – отбил атаку Малявин, недоумевая, что приходится объяснять, как ему казалось, очевидное, а делать это серьезно было скучно, и он ждал, что Цурюпа скажет: «Эко я вас разыграл». Но нет, херсонский выкrest смотрел угрюмовато, чуть склонив к плечу кудреватую голову, смотрел без малейшего намека на улыбку.

Не сдержался Малявин и, подхлестнутый ложным пафосом Петра Цурюпы и его обвинениями в трусости, выговорил:

– Мой отец стоял под пистолетом, отстаивая свою честь, нужда будет, я тоже встану. А вы, кидаа бомбы в безоружных чиновников, называете это геройством.

– А как иначе! Революция – это жертвенность, это насилие над кучкой узурпаторов в угоду миллионам тружеников.

– Вы, Петр Вольфович, и вам подобные могут поднять только бунт, а не революцию. Вы близоруки... Извините, я не имел в виду ваш физический недуг, а метафорически. Так вот, вы не понимаете основ мироустройства, что на основе убийств, насилий, переделов не может быть рая ни коммунистического, ни божеского, ни... А может возникнуть лишь ад, и только ад.

Они спорили с искренней верой в социальный прогресс, проступивший так отчетливо, в близкие перемены, которые позволят подстегнуть неспешный ход российской истории. И даже князь Кугушев, обычно неторопливый в движениях и разговоре, в меру насмешливый, стал неожиданно резок.

– Что вы, уважаемый Георгий Павлович, умеете, кроме как красиво рассуждать о социальных утопиях и писать для управы отчеты? – спросил Кугушев, глядя с несвойственной для него серьезностью и нервно оглаживая небольшую густо-черную бородку.

– Я умею грамотно выращивать хлеб, овощи. Сажать плодовые деревья. Да, да, в отличие от многих – выращивать, а не выкорчевывать.

– На кой ляд ваши деревья, если под ними гибнет человек? Именно его мы решили спасти.

– Ради которого вы, Вячеслав Александрович, любезно передали часть своего состояния в партийную кассу. Так ведь?.. И на ваши деньги купят револьверов и станков для прокламаций, чтобы одних убивать из-за угла, других, слабовольных и корыстных, одурманивать обещаниями райской жизни, которая наступит на следующий день после революции или победы на выборах в Госдуму...

Малявин поморщился, процеживая наново спор. Ему казалось, что он не нашел простых доходчивых слов, что возникла в споре совсем ненужная патетика, могущая вызвать усмешку. Но если с Петром Цурюпой, который подтасовывал цифирь, характеризующую крестьянские подворья в Уфимском уезде, чтобы доказать, будто идет обнищание масс, и ему подобными, страдающими с детства комплексом неполноценности, все более-менее ясно, то почему на их стороне образованный, богатый князь Кугушев, было непонятно и нелогично, ибо брать за основу зов крови предков, срубавших когда-то в жадном упоении белокурые головы, не хотелось. «Может, из-за этой нелогичности, непонятности проиграл, когда дошло до конкретного,

простого – да или нет?» – спрашивал он себя, и это томило, угнетало его теперь перед поездкой в Калугу, подобно накопившимся долгам, от которых не мог избавиться одним махом.

Пятилетний Андрюша называл тетку мамой, а его признавать не хотел. Не давался и даже подарки из рук брать не решался. Но Георгий Павлович не настаивал, потому что все шло как бы понарошке, и надо сделать усилие над собой, чтобы поверить, будто этот маленький, кучерявый, совсем не малявинской породы мальчик в самом деле родной брат по матушке. Однако под вечер, когда зашел в детскую и взгляделся в Андрюшу, – он стоял перед тетушкой, наказанный за какую-то шалость, и выпрашивал прощения, – то догадался, ухватил, что у маленького братца такие же, как у мамы, большие печально-удивленные глаза, когда он не смеялся и не капризничал, бранясь с тетушкой, женщиной строгой и последовательной во всем до педантизма, кроме воспитания племянника.

Дядя искренне обрадовался его приезду, за ужином неуступчиво рекомендовал отведать то заливное, то еще один кусочек молочного поросенка, начиненного овощами, приговаривая при этом: «Не знаю уж, как там у вас на Урале, а у нас в Калуге с этим строго...»

Георгию Павловичу вспомнился гоголевский незабвенный Чичиков и его обед у помещика Петуха Петра Петровича. Он помнил эту сцену почти дословно и взялся прямо за столом пересказывать, как добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете».

Отсмеявшись, дядя выговорил, промокая салфеткой глаза:

– Вот урезал, вот да молодец, Гера!

– Это не я молодец. Это Гоголь Николай Васильевич, первейший русский писатель.

Тетушка, хмурившая до этого брови, давно желавшая угадать цель приезда племянника-опекуна, подозревая втайне, что он хочет забрать к себе Андрюшу, в чем решила воспрепятствовать всеми силами, подобрела лицом, и за столом стало как бы просторнее, светлее, разговор пошел обычный, непринужденный: «А вот у нас... А как там в Уфе цены на хлеб?... А читали, что в Москве творится?»

Глеб Тихонович новомодных штучек с акциями не одобрял, но когда узнал, что они дали прирост в сорок пять процентов, то призадумался, хоть и посматривал все с тем же пытливым недоверием.

– А че ж ты привез их мне? – удивился он, с неподдельным интересом разглядывая ценные бумаги.

Пришлось рассказать все начистоту. Глеб Тихонович поначалу вспылил:

– На сиротские деньги позарился? Да тебя!.. – Однако быстро отошел, чему в немалой степени способствовала тетушка, пригласившая пить чай на веранде.

После двух рюмок клубничной наливки Глеб Тихонович решил, не откладывая, завтра же утром идти в церковь Вознесенскую, что у Гостевого двора, дабы заказать молебен во искупление греха тяжкого. Эта мысль ему очень понравилась.

– Ведь ты какой искус преодолел? Нет, все же молодец, молодец, – искренне радовался он. А после третьего или четвертого стакана чая, побрякивая от удовольствия и промокая выпившую на лбу испарину, Глеб Тихонович вдруг сказал: – Ладно, человек я небогатый, ты знаешь, но тысяча пять тебе ссужу. Однако и ты, Гера... Знаю, ты из этих, из ниспровергателей, однако Бога не забывай. Это он тебя спас от греха. Именно он!

Малявин униженно молчал. Да и зачем оправдываться, когда все разрешалось к всеобщему удовольствию? Слушая неторопливый рассказ тетушки про калужских соседей, у которых красивая дочь, богатая невеста, он уже думал о своем доме: что можно успеть доделать к зиме на эти немалые деньги и что-то еще приберечь на весну. О богатой невесте думалось как-

то вскользь, что это одна лишь морока, что такая из нового, неустроенного дома запросится назад, к маменьке.

К тому же Георгий Павлович втайне надеялся, что в гостинице в Уфе его ждет письмо от Елены с подробным описанием дальневосточной экзотики, ужасов войны, собственных переживаний. А главное – с известием о скором возвращении. В новом доме комнату с окнами на юго-восток он заставил обойщиков отделать с особой тщательностью. Сам подобрал штоф на обои с благородным желто-розовым мелким рисунком – такой бы непременно ей понравился. Он готов был простить ей размолвки, неожиданный отъезд, если... «Нет, она должна переменить свое решение. То был мимолетный наплыв, сумасбродство, чему подвержены многие женщины», – размышлял порой Малявин, склоняясь к тому, что она умна, чиста душой. О страстных поцелуях и прочем он старался не думать.

На малявинской усадьбе, прозванной в обиходе хутором, шли последние приготовления к зиме. Пятидесятилетний Михеич дотошничал и влезал в каждую мелочь. За эту дотошность раньше, когда Малявин был маленьким мальчиком Герой, его не любил, подстраивал вместе с братом Сергеем каверзы, которые Михеич, нанятый дядькой в Криницу, беззлобно сносил. Теперь же, наоборот, с уважением относился к его замечаниям, настырным спорам с плотниками, возчиками, и когда говорил: «Без тебя бы я прямо пропал, Михеич», – оба понимали, что это шутка, но шутка с немалым смыслом.

Михеич-то и принес газету «Новое время» и, подавая, спросил удивленно, с обеспокоенностью в голосе:

– Не про нашу ли тут Елену Александровну?..

Как ни плох был снимок и сам вид ее в папахе и длиннополой шинели, перехлестнутой ремнями, он узнал бы без подписи, что да, это она – Елена!

Жаром обдало, захотелось вдруг грязно выругаться и закурить, затянуться дымом глубоко, до кашля, но лишь мыкнул что-то нечленораздельно и стал просматривать текст прямо во дворе, не чувствуя ноябрьского холодного ветра.

Суконным казенным языком корреспондент поминал события 1904 года, гибель Еремея Мамлеева, отъезд, а правильнее бы сказать, бегство Елены во Владивосток, обучение на фельдшерских курсах, встречу с генералом Батьяновым... И даже, словно боясь, что ему не поверят, привел полный текст телеграммы из Главного управления казачьих войск к дежурному генералу штаба третьей Маньчжурской армии: «Сестра лейтенанта Мамлеева 5-го минувшего октября по телеграфу обратилась к Ея Императорскому Величеству Государыне Императрице Александре Федоровне с просьбой следующего содержания:

“Принося верноподданническое поздравление с Днем ангела обожаемого наследника и моля Всевышнего о сохранении его драгоценной жизни на благо родины, всеподданнейше прошу, как исключение, зачислить меня в списки Оренбургского казачьего войска ради настоящего торжественного дня и геройской кончины брата. Обращаюсь по совету генерала Батьянова, знающего меня как казака”.

Означенная телеграмма от Ея Императорского Величества препровождена была на распоряжение военного министра.

Генерал-лейтенант Редигер, рассмотрев эту телеграмму, нашел, что в списки казачьих войск могут быть зачислены им войсковые наказные атаманы, прослужившие в казачьих войсках не менее пяти лет (высоч. повеление 22 дек. 1898 г.) или командиры отдельных частей за боевые отличия (прим. к ст. 136 Свод. воен. пост. 1869 года кн. 8 ч. 11).

Относительно же зачисления в списки казачьих войск лиц женского пола в законе указаний нет.

Ввиду сего ген. – л-т Редигер 3 сего ноября изволил приказать настоящую просьбу сестры л-та Мамлеева о зачислении ее в списки Оренбургского казачьего войска оставить без удовлетворения.

Главное управление казачьих войск просит Ваше Превосходительство сделать распоряжение об объявлении вышеприведенного приказа военного министра сестре лейтенанта Мамлеева...»

А далее – обычная патетика, восклицания: «Но патриотический настрой потомственной дворянки Елены Александровны Мамлеевой пробил брешь даже в душах чиновников военного министерства. После нескольких телеграфных обращений, ходатайства генерала Батянова впервые за всю историю нашего российского воинства женщина была зачислена в списки казачьего войска. Эта героическая женщина успела принять участие в конном рейде в тыл японцев на Инлоу под Мукденом, проявив при этом завидную выдержку и хладнокровие, которой так не хватает многим генералам на Маньчжурском театре боевых действий. В настоящий момент, получив разрешение носить форму Оренбургского казачьего войска, Елена Александровна Мамлеева находится в 3-й армии при 243-м Уралославском полку...»

Георгий Павлович поддернул голову, словно ему натерло шею до красноты воротом жесткой солдатской шинели. «Бедная!» – прошептал он, легко представив осеннюю распутицу и Лену в воинской колонне, в долгополой шинели... И холод, и мучительные неудобства, когда ни помыться, ни справить нормально нужду. И дурака корреспондента. И себя со своими глупыми надеждами увидел как бы со стороны...

В хорошо протопленном с раннего утра доме пахло сосной, словно бы расплавленной на солнце смолкой, лесом, отчего Малявин еще сильнее ощутил, как намерзся на улице, как хорошо и покойно в его новом доме.

Глава 6

Анамнез

Он прожил почти два года в гостинице «Урал», и теперь, если приходилось задерживаться допоздна в городе, он останавливался только здесь, где его звали по имени-отчеству и радушие выказывали, пусть показное, но уважительно относились к просьбам и поручениям, что в российских гостиницах встречается нечасто.

Молодой горничной Евдокии тут же пояснили про господина Малявина и приказали отнести в номер чай да одежную щетку. Сам Малявин задел локтем, или Дуня по неопытности наклонила поднос, подавая щетку, точно определить невозможно: стакан с чаем опрокинулся на светлый сюртук Малявина. Это его огорчило – в нем он намеревался идти на заседание земской управы, – но не больше, чем плохо составленный отчет за минувшее полугодие.

Евдокия от испуга зажмурилась, прикрыла ладошкой лицо и попятилась, ожидая брани, криков и, скорее всего, увольнения из гостиницы, куда приняли, «взяв во внимание усердие и старание старшей сестры». Сквозь растопыренные пальцы увидела, что господин Малявин как ни в чем не бывало пишет, склоняясь над разлинованным листом бумаги.

– Я замою, я выпарю! Отглажу, – зачастила Дуня, обрадованная, что, кажись, пронесло.

– Вряд ли вы успеете... – Малявин достал часы, глянул на циферблат – У меня осталось меньше часа.

Минут через сорок Дуня, раскрасневшаяся, с выбившимися из-под наколки волосами, отчего еще больше похорошела, принесла отутюженный сюртук.

Малявин оглядел его внимательно, столь же внимательно горничную, поинтересовался, как зовут, и дольше, чем следовало, держал, не выпускал ее руку. Затем подарил рубль, как сам он пошутил, вместо медали.

– Так вы не скажете распорядителю?

– Скажу. Непременно скажу, чтоб только Дуня носила мне чай в номер. Лишь бы не кипяток.

Он стал чаще бывать в гостинице и каждый раз что-нибудь дарил Дуне, о чем вскоре знала вся обслуга, но так как он это делал открыто, не таясь, а если торопился, то передавал через распорядителя, то об этом судачили вяло, так уж от зависти помянут иной раз: «Вот так тихоня!...»

Зашел однажды в конце дня разговор о Малявине как о женихе, так конопатенькая девушка, принятая недавно в бельевую, аж руки вскинула с заполошным: «Пожилой ведь! Двадцать лет разницы...»

– Тетеха глупая! Зато барыней станет. Родным поможет, матери, – вступилась старшая горничная. – Эх, кто из нас не мечтал о таком?..

– Что взялись-то? Ничего он мне не предлагал, – попыталась урезонить их Дуня, красная от смущения.

– А предложит, так и не раздумывай, не будь дурой.

На что возражать не стала, глупой болтовней все это казалось, она уже наслушалась разных историй, как соблазняют господа молоденьких горничных, как те потом горе мыкают.

«Приятный мужчина, – думала она иной раз, – но уж больно обходительный, спокойный, будто его приморозило. Другое дело Миша – купеческий сын, чуб винтом, щеки пылают, аж на месте устоять не может от нетерпения. С ним понятней и проще. Сама-то не слабенькая, да куда против Миши! Как притиснет, как прижмет в коридоре, аж дыхание перехватит. А глазищи такие, что лучше в них не заглядывать».

– Пусти, дурной, не то визжать стану...

– Пойдешь за меня, Дуня?

– Ты лучше у папаши своего попробуй.

И разожмутся враз руки. Но тут же перехват за рукав:

– А если без благословенья? Убегом?..

Молчит Дуня, что тут скажешь.

Кинулась за советом к старшей сестре. А та сразу:

– Даже не думай! И не надейся, любой тебе скажет, что купец Прохоров – твердокаменный старик, если уж сказал нет, то нет, а коль да, то да. Пронадеешься и останешься, навроде меня, навек в поломойках. А так Дашке с Любашкой помогла бы. Она тут же трижды сплюнула, чтоб не сглазить, через левое плечо.

Ко всему Миша-Михаил, купеческий сынок, пропал, и ни слуху ни духу о нем.

Поэтому, когда Георгий Павлович предложил ей прокатиться в колясочке, она особо не отказывалась. А когда встали на крутом правобережье у самого склона и стал он рукой показывать на дальний край поймы, простиравшейся широко к югу, да рассказывать, что вот там его утопающее в зелени поместье с родником, прудами, цветущим садом... А ветер крутой, весенний прямо в лицо, того и гляди платочек сорвет, отчего самой шалить хочется и смеяться. А он за ручку придерживает и все объясняет, и говорит так красиво – прямо голова кругом, и жарко, так жарко щекам.

Малявин иллюзий не питал. Какие иллюзии в тридцать девять лет? Что красива Дуня, тут не отнять, вспылал искренне с первого раза, как увидел, и почти сразу решил, что мудрить не надо. От такой девушки и потомство будет здоровое, и дом в полном порядке. Грамоте подучить можно, а вилку держать сама научится, если захочет, а то, право же, при гостях будет неловко...

Он ни с кем не советовался, решил в две недели окончательно. Тем более что весна в полном разгаре, любимой работы непочатый край.

С Акулиной Романовной познакомился перед свадьбой, и она не поглянувшись, показалась ему глуповатой, скаредной. Когда Евдокия завела разговор, что, беда прямо, мать мыкается по чужим углам... Малявин согласился с большой неохотой и сразу поставил условие: только отдельно. Однако ни разу потом не пожалел, что разрешил теще поселиться в усадьбе, удивляясь ее врожденной добропорядочности, разумности, какую и в образованном человеке редко обнаружишь.

Куда хуже, сложнее было с тихоней Дуней. Она во всем искала подвох, была настороже, словно во вражеской крепости, и он, как ни старался, не мог преодолеть ее внутреннюю отчужденность, которая перерастала в откровенное противоборство. «А я сделаю по-своему!» – вслух она не произносила, но поступала именно так, что становилось похожим на застарелую зубную боль.

Ранней осенью, вскоре после рождения Павлуши, возвращался из Авдона в приподнятом настроении. Издали разглядел фасонистую коляску Россинского и самого Петра Петровича, прохаживающегося возле нее, и даже Буруна подхлестнул от нетерпения так, что он перешел в широкий намет, заекал селезенкой, а голову поворотил, кося глазом, словно спросить хотел: чего это ты, хозяин, взбеленился?

– Необычайно рад вас видеть, Петр Петрович!

– Да вот завернул, возвращаясь из Осоргина.

– А что же не прошли в дом-то?

– Так не приглашен-с...

– Как?!

– Да вот так. Вышла на крыльцо женщина, спрашивает: «Вам кого надо-то?» – «Малявина Георгия Павловича», – отвечаю ей. «Нету его, а когда будет, не знаю», – поясняет она и смотрит

на меня, как на должника. «А вы кем тут, позвольте узнать?» «Супруга я его законная», – отвечает эта весьма миловидная женщина и поворачивается ко мне... э-э, спиной.

Он рассказывал так, будто не рассержен, и даже смеялся, а вместе с ним Малявин, но досада прижилась в Россинском, и душевности той, что проскальзывала между ними раньше, не возникло, как ни усердствовал Малявин с обедом, грибной охотой. Лишь во время вечернего, точнее, уже ночного чаепития Петр Петрович разоткровенничался, вспомнил, как хотелось ему, «аж зудило», предостеречь его перед помолвкой с Еленой Александровной...

– Но совестно было и не по-соседски, вроде как я жениха переманиваю. Хотя знал: невеста хороша собой, да жизни с ней ладной не будет.

– Я это ощущал подспудно, однако было что-то, не позволявшее расстаться, разорвать отношения... У нас вновь все наладилось, когда она вернулась с Дальнего Востока и сняла эту дурацкую папаху.

– Говорят, что когда губернский секретарь Говоров увидел ее в казачьей форме на праздничном приеме, то поинтересовался: «Это что, новое модное увлечение у женщин?» А Елена ему встречь: «Вы что же, указ не читали?» – «Какой еще указ?» – спростодушничал наш мягкосердый секретарь. «О том, что российские мужчины грома стали бояться. Поэтому армию начнут формировать из женщин».

Даже наш излишне чопорный губернатор, говорят, рассмеялся и выдал спич, что пока есть такие женщины, как Елена Александровна, наше отечество непобедимо. Доброхоты подхватили: «Первой российской казаку-женщине Мамлеевой – ура!»

– Мне это стало главным укором. Но я соотносил ее экзальтацию с гибелью Еремея Александровича, которого она очень любила. Тут спорить с ней бесполезно, по большому счету она права, трудно припомнить столь бездарную военную кампанию. Да и вся дальневосточная политика кабинета министров!.. Впрочем, мы этим уже переболели, не сделав, как всегда, никаких выводов.

В ту осень, если вы помните, вскоре после ее приезда праздновали мы новоселье. Елена осталась погостить здесь, а осень стояла яркая, чистая, и мне вдруг стало казаться, что мы обретаем второе дыхание, что все лучшее у нас впереди. И если б не смерть Александра Александровича... А потом этот полковник из Москвы, напомнивший мне младшего брата Сергея своей самовлюбленностью, фанфаронством. Знаете, что мне Елена тогда сказала? – спросил Малявин, как бы раздумывая, продолжать или нет. – «Я ждала, что вызовешь его на дуэль». За что, скажите на милость? Я видел его пару раз, и то мельком...

Но Петр Петрович отмолчался – похоже, у него было на этот счет свое мнение, что Малявин угадал по тому, как он поторопился изменить разговор.

– Варвара Николаевна говорила, что ты ездил к Елене?

– Ну, не совсем к ней... Ездил я в Калугу проведать Андрюшу, а на обратном пути заехал в этот подмосковный монастырь. Она не захотела выйти ко мне... Я видел Лену только издали, во время вечерней службы, но в лице промелькнуло что-то болезненное, тоскливое, мне ее стало по-настоящему жалко. А вместе с этим пришло облегчение, словно я освободился от наваждения.

О последнем письме от Елены не сказал. Слишком сильно било оно по самолюбию, походило на пощечину, которую, как ему казалось, он получил незаслуженно.

Помолчали, размышляя каждый о своем. Петр Петрович переживал последнее время из-за младшей дочери, веселой щебетуны, похожей, как он сам говорил, на пасхальное яичко. Столько в ней было чистоты, света... И вот умыкнул какой-то хлыст в лайковых перчатках, у которого ничего за душой, кроме жалованья и адъютантского аксельбанта. Вот на кого тебе, Георгий, надо было засматриваться. А ты!.. Он даже вздохнул от огорчения, но ничего не сказал, поднялся с кушетки, чтобы откланяться перед сном.

На следующий день Малявин стал выговаривать Евдокии, что она обязана гостей встречать по-человечески, чаем напоить, поинтересоваться самочувствием и обязательно в дом пригласить.

– Вот еще! Мне сына надо было кормить...

Малявин сдержался, стал вновь объяснять, почему она должна быть обходительной с гостями, независимо от их звания, и даже как складывались эти правила и как они разнятся в местностях, странах. Евдокия сидела напротив, думала о чем-то своем, а когда он умолк, спросила:

– Может, странноприимческий дом устроим?

Ждала, что он закричит, обругает, тогда ей легче, без укоризны думалось бы о Мише Прохорове, передавшем через работника коротенькое письмо, но Георгий Павлович лишь круто развернулся и молча вышел из комнаты. Проследила через окно, что пошел он вниз по склону на опытную делянку, где двое поденщиков докашивали клевера какого-то «необычайно урожайного» многолетнего сорта. Прошла в детскую, где спал совсем маленький сыночек, этакая крохотуля-капризуля, проверила, сухой ли. Поправила головку, как учила мать, чтоб не отлежал, перебрала, переложила распашонки, чепчики и все же не удержалась, достала оба письма «от любимчика Мишеньки».

Первое получила вскоре после свадьбы, когда поехали за покупками в город и остановились опять же в гостинице «Урал». Распорядитель было: «Ах, Дуня!..» Но тут же, глянув на господина Малявина, поправился: «Евдокия, а как по батюшке?..» Она замешкалась и смущенно выговорила: «Матвеевна», – потому что ее так никто не называл. Горничные засновали, кому надо и не надо. Тогда же и сунула бывшая товарка письмецо от Миши.

Миша писал, что отец, узнав о его желании жениться, крепко разгневался и пытался побить, а потом силой отправил в Астрахань на сельдовой промысел и приказал без разрешения не возвращаться... Просил Миша подождать до осени, потому что отец гневлив, но отходчив, а еще хвалился, что купил для нее на местном базаре дивной красоты турецкую шаль, похожую на ночное звездное небо.

Последнее послание и письмом-то не назовешь, было оно короткое, и писал его Мишенька, похоже, второпях, на коленке и очень сожалел, что вышло так нескладно, что не винит никого, кроме себя одного, и готов помочь в любую минуту, если нужда у нее возникнет в том, и просит ее лишь не забывать, а живет он теперь отдельно, на улице Крапивной, и если она сочтет возможным, то может туда прислать человека за подарками, которые привез ей из Астрахани.

Тут она не выдержала и расплакалась, горюя о своей погубленной молодости, любви нечаянной, а Малявин представлялся ей погубителем, злым обманщиком с той так поразившей ее обложки в журнале, где изображена прекрасная юная невеста вся в белом, а рядом с ней – седой плешивый старик в черном фраке, и вот они стоят со свечами в руках перед аналоем в окружении родственников, все улыбаются, и только бедная невеста грустна. Пусть Малявин не стар и не плешив, но стоило ей снова взглянуть на эту картинку в журнале, как слезы непроизвольно подступали к глазам.

Раз как-то заикнулась про Мишу Прохорова, что он-то крепко любил, мать вскинулась, зашикала: «Окстись, Евдоха! Совести у тебя нет, одно лишь упрямство».

Намыкавшись с четырьмя дочерьми после смерти мужа по чужим углам, она поместье как земной рай почитала и говорила: «Куда ж еще лучше? С серебра ешь, у плиты кухарка толкется, в поле работники, живности всякой без счету. Одних лошадей полдюжины будет. И на деньги Малявин не скуп, на подарки... И жалованье у него с разъездными в две тысячи рублей серебром».

– Это сколько ж можно коров враз купить? – справилась она у дочери.

– Смотря каких.

– А вот тех, что вы осенью брали по тридцать два рубля.

Дуня писала плохо, с ошибками, а считала бойко, еще в горничных нужда заставила. Но пока разделила, как надо, лоб вспотел.

– Шестьдесят две породистые коровы и семнадцать рублей в остатке.

Она представила это большое стадо черно-пестрых удоистых коров, как бредут они медленно с выгона... Это овеществленное жалованье Малявина вызвало у нее удивление и восхищение одновременно. И все-таки Евдокия не могла понять, за что ему платят огромные деньги: раскатывает целыми днями по уезду, книжки почитывает да бумагу изводит по вечерам. В полночь проснешься иной раз, а он все сидит перед лампой, все что-то чиркает.

А больше всего ее злило, когда родственники говорили: «Дунька у нас барыня! С ей на “вы” теперь надо». Знали, что никакая не барыня, а та же крестьянка, которую не с каждым, поди-ка ты, гостем знакомят.

Однажды услышала через приоткрытое окно:

Не хочу быть простою крестьянкой,
А хочу быть столбовою дворянкой!..

Прямо ожгло, словно поддразнивает кто-то. Вбежала в дом. Глянула, а это Малявин (так она его называла обычно про себя) читает по книжке Павлуше:

И вздулося синее море,
И пошли по нему огромные волны...

Малявин привстал – подумал, что-то стряслось. Когда узнал, принялся хохотать. А потом говорит: да в прозвании ли дело? Давай назову тебя княгиней великой, а меня – падишахом. Что изменится?... Да ничего. Только ретивые социалисты думают, все дело в названии, что стоит одну кучку правителей заменить на другую и назвать их иначе, то сразу наступит райская жизнь. Вот и граф Лев Николаевич опрощался и других призывал, и я по молодости увлекся, думал: сольюсь с народом, стану обычным землевладельцем. Да не тут-то было...

Умно говорил. Книжки разные подсовывал. А спали-то все больше врозь. Может, у благородных так и положено, да только ей не в радость. Особенно в последние годы...

Георгий Павлович был готов к отчужденности, непониманию, а когда случайно узнал про Михаила Прохорова, то укоризны не высказал, потому что считал: время вылечит и терпеливое каждодневное воспитание. То же деревцо пересаженное, бывает, года два-три прижиться не может, как ни старайся, а потом вдруг расцветет обильно, и тут надо не жадничать, надо обрывать завязь, красоту эту, чтобы оно вновь не засохло. Огорчало его, что обузился из-за Евдокии круг знакомых, более не заезжают Россинский, братья Юматовы. Но по вечерам сын требовал сказку и с нетерпением ждал воскресной поездки в Авдон к местному учителю, у которого мальчик и девочка чуть постарше Павлуши, или к знакомым в Осоргино. И возраст свой впервые почувствовал Георгий Павлович, когда выговорил: «Ну вот, перевалило за сорок пять». И как бы споткнулся об это...

В тринадцатом году сговорились в письмах с Глебом Семеновичем, что приедут они погостить к нему и оставят на все каникулы Андрюшу. Сроки определили и что надо брать с собой, что не надо... Неожиданно слег с воспалением легких Глеб Семенович. Болел он долго. Было опасение, что начинается чахотка. Поэтому почти все лето в пятнадцатом году они провели в Крыму, откуда прислали красивые фотографии с видами Ялты и Бахчисарая и два письма. Одно, совсем коротенькое, было от Андрея – восторженное мальчишеское письмо с множеством восклицательных знаков, двумя грамматическими ошибками и фразой, которая сильно

задела: «Приезжал Сергей Павлович и подарил мне настоящий кортик. У него необычайно красивая форма!» Из дядиной приписки на оборотной стороне страницы стало ясно, что Сергей получил серьезное ранение и приехал в Крым долечиваться после госпиталя. «Он не расстается с палочкой и сильно переживает, что могут не признать годным к строевой службе. Но на процедуры не ходит, ни разу не искупался в море, с обеда и до поздней ночи проводит время на веранде летнего ресторана, и никакие уговоры не помогают. Перевод в резервисты ему кажется жизненным крахом...»

Тут же начал писать письмо Сергею, хотя знал, что не ответит и не приедет, но все же выколупывал, выдирает из себя хорошие, нужные слова. А слова не давались, торчали углами, воняли высокопарностью, потому что начать надо было с простого: прости меня, если сможешь.

Война пока еще слабыми отголосками, но все явственнее докатывалась до Урала. В моду входили френчи, белые косынки, воинские поставки и вновь разговоры о Дарданеллах...

За десятилетие неустанный труд Малявин вынуждал, выходил усадьбу, как невесту. От холодных ветров с севера сад прикрывало обширное чернолесье, склон, покатый к югу, хорошо прогревался, на нем уже в конце марта сходил снег и пробивалась зеленая травка. В низине, где намывной чернозем был почти на метр, Малявин обустроил сортоучасток с невиданными для здешних мест кормовыми культурами, с подсолнухами величиной с медный таз, с небольшой мельницей, устроенной так чудно, что в ветреную погоду перекачивала воду из нижнего пруда в верхний, давала питание двум электрическим лампочкам в доме и уличному фонарю, который расстреляли из винтовок в апреле восемнадцатого года.

Место оказалось идеальным для мирной жизни: чуть меньше версты до волостного села, четыре – до станции, шестнадцать – до города. Здесь иногда собирались члены общества любителей пчеловодства и садоводства под председательством Георгия Павловича. Последний раз – в августе семнадцатого года вместе с почетным членом общества и бывшим вице-губернатором Ростиславлевым, привезшим на пробу корзину московской грушовки, которая у него впервые хорошо уродилась. Малявин считался крестным, потому что собственноручно делал прививку года четыре назад, нахваливая всем знакомым этот морозоустойчивый ранний сорт яблок.

Длинный стол с обязательным ведерным самоваром заставили глубокими мисками с сотовым медом, туесами и вазочками с медом майским, липовым, свежей откочки с июльского разнотравья, отдельно стоял гречишный и подсолнечный. Обсуждали новый устав общества: включать или нет огородников, и какой установить членский взнос в связи с обесцениванием бумажных денег, и нужно ли после ремонта помещения на улице Центральной устанавливать там второй телефон.

После обеда осматривали сад с нетерпеливым и плохо скрываемым: «Так чем же, Георгий Павлович, удивите нас в этот раз?.. Ремонтантную черную малину мы видели. А что это за яблоня такая обильная?»

Этот прекрасный анис срубят под корень солдаты, поленившись слезить за яблоками, в один из большого множества дней, когда все перекопилось и пошло кувырком, а Малявин будет стоять рядом и молча смотреть, как дрожит, сыпет листом и недоспелыми яблоками его любимый анис на подурневшую к осени траву... Малявин знал, что бесполезно упрашивать, умолять этих солдат, просить о пощаде дерева, когда они беззастенчиво отрубали людские головы и подставляли свои незнамо за что и про что. Зимой одного из таких черных годов они сожгут мельницу – «причуду барскую» – и разграбят все, что можно разграбить, и останется только возможность успокаивать себя тем, что у Юматовых полностью сожгли усадьбу. И не было этому оправдания – впрочем, его никто и не искал.

Кавалерийские и пешие отряды и отдельные конники вжимались в край леса, огибали его по огромной дуге и, наткнувшись на ухоженное поместье, врываются сюда, как в неприятельскую крепость, и, словно бы мстя за свой страх, скитанья, мученья, на кои обрекла их

война, буйствовали, разоряли, выгребая одежду, еду, инструмент, конскую упряжь – все, что приглянется, что хозяева не успевали припрятать по ямам и чердакам. Оставляли они после себя мусор, обгаженные углы и ту бессильную ярость, которая душил человека хуже астмы.

Однажды в полуверсте от дома сшиблись два кавалерийских отряда.

Евдокия позвала сестру и вместе с ней поднялась в мезонин, а оттуда – на узкий балкончик. Тут же испуганно обе присели, спрятались за резные балясины ограждения, вздрагивая от хлестких винтовочных выстрелов, похожих на хлопки огромного кнута, разогнавшего людскую и конскую круговерть. Водоворот этот вышвыривал пеших, обезумевших лошадей без седоков, отдельные группки всадников, скомканные тела убитых.

– Че ты, Дашка, ревешь? – спросила Евдокия с тем насмешливым удивлением и обидой, как привыкла разговаривать с младшей сестрой, казавшейся ей простодушной до глупости.

– Жалко ведь. Такое смертоубийство.

– А последнее выгребли, то не жалко?

– Так это ж другое... – пробормотала Дарья, опустив голову к самым перилам и продолжая всхлипывать.

С перелесками, лугами и едва приметной излучиной реки, с купами раскидистых осокорей, с далеким лесистым крутояром – эта густо-зеленая долина тянулась к югу на десятки верст, и ничтожно мала на этом пространстве казалась кучка людей, пластавших друг друга остро отточенным железом, люто ненавидевших и ничего не прощавших. А женщины смотрели на них и не понимали, почему они убивают друг друга, когда так много всего. И земля добычливая, и родит она все, что посадишь с заботой и чаяньем, как хорошая добрая баба.

Нет, никак не могли они такого понять, особенно двадцатилетняя Даша, ее раньше придерживала мать из-за приданого, каких-то выдуманных расчетов, а теперь стало не до невест, она перезревала, отчаянно хотела любить, и чтоб любили ее, трогали грудь, выпирающую из сарафана, широкие бедра, трогали жадно, ненасытно, как это она себе представляла не раз, особенно в бане, когда березовый веник казался вовсе не веником, а ласковым прикосновением чьей-то руки, о чем она стыдилась рассказывать даже старшей сестре.

Евдокия сбегала по лестнице вниз, глянула на Георгия Павловича, который сидел в кресле и смотрел через окно неизвестно куда, или дремал с открытыми глазами, или просто дурачил их всех, как ей казалось временами, потому что он никуда не выходил и часами сидел молча в столовой, а чаще – в своем кабинете. Нездоровая сероватая бледность растеклась по лицу, особенно сильно выбелив его нос, казавшийся теперь восковым, словно бы приклеенным, и она не раз подступалась с вопросом: что болит-то?.. Но больше всего раздражало, что надо уговаривать мужа пообедать, когда и без того хлопот по хозяйству поверх головы.

Считай, отобедали, когда вдалеке, где-то у свертка со Старо-казанского тракта, призывно заржал жеребец и ему ответила пегая в яблоках кобылица Десна и бухнула копытами по дощатой перегородке в конюшне. Все за столом замерли, даже пятилетняя Анечка перестала вертеться на стуле, и тут же, звонко стукоча, запрыгала по полу вилка, сдвинутая Георгием Павловичем. Охнула, вскинулась Евдокия, заранее готовая к очередному погрому.

– Дашка! – позвала она сестру, которая жила последние годы с ними в поместье, кухарничая и помогая по хозяйству.

Сноровисто, как умела делать все по дому и в огороде, взялась укладывать горкой на скатерти посуду, выбирая ту, что получше, не забыла поднять с пола серебряную вилку с размашистым вензелем «М».

Георгий Павлович сидел неподвижно, откинувшись на спинку стула, с молчаливой отрешенностью наблюдая за всей этой возней.

– Петр Семеныч приехал... – начала было Евдокия, когда выяснилось, что тревога ложная, приехал на своем хромом жеребце бывший казенный лесничий Шигарев.

– Вижу, – ответил негромко Малявин.

Он сидел в той же позе, с тем же выражением усталой отрешенности, которое не мог пересилить, и особо не старался. Ему не то чтобы беседовать, поздороваться стало в тягость, а происходящее рядом он воспринимал, как из-за стеклянной отгородки. Он не понимал, о чем говорит Шигарев с напускной веселостью, и лишь на трижды повторенное: «Так прислали вам из уездного совета письмо иль нет?» – ответил:

– Прислали... На серванте лежит.

Шигалев развернул серую казенную бумаженцию и стал читать вслух:

– «Господин Малявин! Во вновь созданный губнарземотдел требуются грамотные специалисты. Зная о вашей лояльности, больше того, о вашей поддержке революционного движения трудящихся масс, предлагаем явиться не позднее пятнадцатого мая в губернский Совет к товарищу Мамочкину. Председатель губревкома Эльцин. Председатель комитета по заготовкам хлебопродуктов Цурюпа».

– Это не тот ли Цурюпа, что служил последнее время помощником уполномоченного по заготовке скота для армии?

Малявин кивнул утвердительно.

– Он к нам заезжал как-то году в шестнадцатом, – с непонятной для Шигарева радостью сказала Евдокия Матвеевна. – Как его тогда ругал Георгий!.. А вот же зла не держит, видно, человек неплохой.

– Я поэтому и приехал. Хотел посоветоваться. Мне прислали похожее письмо, а никак не соображу, что это – западня или доброе намерение большевистской власти? Хочется верить в лучшее, с прокормом, сами понимаете... Вы поедете, Георгий Павлович?

– Нет.

– Но вы же давно знакомы с Цурюпой... Хотя бы узнать?

– Извините, пойду лягу...

Он не распрощался с Шигаревым, вновь окунаясь в полузабытье с тягучими обрывками воспоминаний, где нашлось место и для Цурюпы, перехитрившего однажды себя самого, пересолившего со своим сочувствием...

– Кто вам сказал, что у меня производился обыск? Кто конкретно?!

– Напрасно набросились на меня, уважаемый Георгий Павлович. Вы проанализируйте ситуацию, вдумайтесь: какой же для меня смысл наводить на вас полицию? Если надо, то я вспомню, конечно же...

Длинно, путано стал оправдываться Цурюпа, а для Малявина в тот момент это не имело никакого значения. Его угнетала досада, что так легко поддался и передал через него тысячу рублей серебром на народную газету «Озарение». Врезать бы с размаху, по-мужичьи!.. Ведь хотелось, аж кулак зудило, но сдержался, как сдерживался десятки раз; возможно, поэтому так болезненно зацепил его упрек Елены в последнем письме: «...Разве не ты и тебе подобные виной тому, что русских, лучших русских, стали отстреливать и забрасывать бомбами? Вот убит один из немногих, кто не праздновал труса, не осторожничал, а укреплял Отечество, но ты вновь изображаешь глубокомысленное спокойствие. Больше того, даже якшаешься с Кугушевым, у которого руки в крови, вместо того чтобы вызвать его на дуэль, потому что доказывать, объяснять бессмысленно, когда началась гангрена.

Ты укорил меня, что я предала нашу любовь. Может быть. Однако я не могу быть счастливой, когда вокруг происходит такое. Мне остается только сожалеть, что я родилась не мужского пола, да молиться страстно о спасении России».

Неожиданно возникли толстомясое лицо полицейского со склеротическими лиловыми прожилками, его глумливая улыбка и как он процедил сквозь зубы, когда подавал вид на жительство: «От греха подальше».

Не хватало малости, но необходимо было додуматься и понять, почему привиделся Всеволод Волгарев, его неожиданный приезд в ту давнюю зиму, когда он еще только обживал усадьбу, тот раблезиански обильный ужин в новом доме и бесконечная беседа, когда, кажется, и за неделю не переговорить о самом важном, а потом вдруг спор из-за пустяка, когда, кажется, что старой дружбе конец, но вскоре, одумавшись, кинулись обниматься, впадая в слащавость.

Малявин, с трудом пересилив въевшееся «ну и ладно», поднялся с дивана, вытащил из секретера стародавнее письмо Волгарева и стал читать как бы наново:

«Ты в предыдущем письме негодовал относительно еврейских погромов. Должен тебе сказать прямо, что вокруг них много пустого шума бульварных продажных писак. Тебе ли не знать о долготерпении русского мужика, который уживается и с немцем, и якутом, и самим чертом? Просто одни дураки идут за агитаторами кидать бомбы и грабить поезда, другие дураки... И главное зло на сегодня не евреи, а революционеры нового толка, в большинстве своем выкресты. Выкрест – это навечно обиженный человек, обиженный на самого себя из-за того, что сменил веру, поддался. Даже через сто лет в нем будет звенеть эта обида, и он отомстит за оскорбление дедов и прадедов. Отомстит православным, то бишь нам, русским. Доводом будет, что мы понудили несчастного еврея пойти на уловки, хитрость, чтобы поступить в университет, департамент и тому подобное, потому что мы устроили запреты в виде черты оседлости, берегая собственную государственность, права коренного населения на определенные преимущества. Но разве может быть иначе? Пока очередной Мойша печатает листовки или торгует в лавочке, лейтенант Мамлеев, сын нашего общего знакомого, отстреливается из корабельного орудия на тонущем судне. Государство создается на крови лучших, и тут пошлы сантименты.

Кстати, как твой роман? Я, когда вернулся в Москву, долго размышлял и решил, что Бруты были первыми негодьями-социалистами, но это было в эмбриональном состоянии. Но было. Тарквиния Гордого убили поделом, если верить легенде, а вот Цезаря зачем?

Гера, прости за назидательный тон, который, быть может, прорывается местами, но такой уж я зануда, твой бывший академист и по-прежнему любящий тебя товарищ».

Мысли скакали блохой, не хватало малости, чтобы уцепить, ухватить самое главное, мучительное и спасительное одновременно, как ему казалось в тот момент.

Шигарев, знавший Малявина лет десять, обиделся, хоть и понимал, что болезнь сильно меняет людей. Когда в дверях его остановила с извинениями Евдокия, он как бы по инерции спросил:

– Давно у Георгия Павловича началось... это вот?

Евдокия сообразила, что интересуется лесничего, но переспросила с привычной непонятливостью:

– Что началось?

– Болезнь. Это душевное состояние?

Она болезнью это не считала, ее обижало, когда родственники говорили: «Уж больно переживает». В этом слышалась ей укоризна, будто она, бесчувственная, поплакала над сыночком и забыла, а отец вон как убивается... Хотя не меньше его пласталась несколько суток по лесу и окрестным деревьям без роздыху, отчего и впала в беспамятство. Не видела, как снимали Павлушу с дерева в Хохловой балке, как обмывали исклеванное птицами лицо. Очнувшись, когда перебинтовали его так, что остались полоска лба и соломенные волосы, в которые она уткнулась и больше не отходила до последнего. А Георгий кружился, как заводной, загнал вусмерть Дубра, потомка вороного Буруна и Двины, и был бледен от недосыпа. А после похорон ездил со следователем в Авдон, где подвыпившие мужики полдня продержали их в осаде...

– Трудно сказать точно. После убийства Павлуши он долго был не в себе, но ранней весной снова занялся садом, с Анечкой стал заниматься. Вроде отмяк, но налетел как-то конный отряд и учинил страшный погром и непотребство всякое, едва живы остались. После этого он

заперся, пришлось двери взламывать, чтоб его хоть покормить. Так и идет третий месяц, я уж замучилась, сил никаких нет... Может, чайку хоть попьете? Самовар еще горячий...

– Нет, спасибо. В другой раз.

Во дворе его нагнал, заставил обернуться звонкий голосок девушки: «Петр Семеныч, что ж вы уходите?! А я оладушков испекла». Неподдельная обида и разочарование звучали в ее голосе, а сама она, покрасневшая, жаркая, обильная телом, на удивление хорошенькая, протягивала узелок и выговаривала:

– Что так спешно? Уж не обессудьте... картофельные. Муки давно нет. Они пока горячие хороши.

Шигарев шел с узелком в руке, ведя коня в поводу. Запах жареных картофельных оладьев был такой аппетитный, что он не удержался, глянув стыдливо назад, откусил кусочек оладушка с хрусткой подрумяненной корочкой. И вдруг подступило что-то саднящее, слезное, вместе с потухшим малявинским лицом, рассказом про удушенного Павлушу и этим вот нищенским узелком, прямо не продохнуть.

К обеду вернулась Евдокия с покоса, заморенная, в жестком от пота сарафане. Малявин сидел в большой комнате и так же неотрывно смотрел непонятно куда, а ей хотелось пожаловаться, рассказать, что трава никудышная, пересохшая, что два роя ушли – проглядели, а единственная уцелевшая телочка напоролась на лемех.

– Помогите мне...

Только теперь, помогая подняться с кресла и дойти до спальни, Евдокия вдруг поняла, что муж серьезно болен, и впервые за двенадцать лет совместной жизни она по-настоящему пожалела его, а не себя и свою загубленную молодость, как, случалось, говорила под настроение младшей сестре.

Она подхватила спящую дочку, потому что Дашка осталась на летнике сгребать сено, и, не мешкая, побежала к матери.

Акулина Романовна позади домика высаживала в парник огуречную рассаду.

– Ничего не болит, а вот сидит и сидит молчком, как идол. От еды отказывается, – стала рассказывать Евдокия. – Придурь какая-то!

– Сама ты придурь! – укорила Акулина Романовна дочь. – Помирает он.

– Что ты выдумываешь, мама? Лучше б лечить попробовала.

– Пробовала. Так он от питья моего наговорного наотрез отказался. А ведь мы с ним всегда ладили. Я бы рада, ведь наш благодетель... – Она даже всхлипнула и мазнула рукавом по глазам.

Евдокия губы скривила:

– Будет тебе юродствовать.

Она так и не поверила до конца матери, но страхом ее проняло, и с утра пораньше запрягла в легкую повозку чудом уцелевшую кобылу. Ей старый Михеич постоянно выстригал шерсть клочками и мазал дегтем, будто стригущий лишай выводил. Опасно выезжать одной, но деваться некуда, сунула в передок старый топор и поехала за врачом. Привезла уже после обеда хитровато-улыбчивого толстяка Смирнова, с которым Малявин только на ее памяти знал лет десять.

Земский врач за свою многолетнюю практику видел всякое, а тут вдруг занервничал. Он хмурился, кхекал, долго выслушивал сердце и легкие, пытался разговорить Георгия Павловича, припомнил парочку анекдотов, но растерянность свою скрыть не смог. Поставил диагноз «рефлексивный паралич» и, как бы оправдываясь, стал говорить про нервное истощение, что сам-то он больше знаток по хирургической части – пришить, отрезать. Пообещал разыскать в городе опытного врача-невропатолога.

Вскоре Смирнов привез профессора с ассистентом и на испуганное: «Чем же я расплачиваться буду?» – ответил с хохотком:

– Щами, милая Евдокия Матвеевна, пусть даже постными, но щами и жареной картошкой – этим я их и соблазнил в небезопасную дорогу.

В следующий свой приезд они пытались отказаться от обеда, потому что помочь Малявину ничем не могли – это поняла по их лицам. И все же с удовольствием пообедали, не уставая нахваливать хозяйку, а особенно – фруктовую самогонку, которую они окрестили чудеснейшим кальвадосом.

Без охов, слов покаянных и напутственных Георгий Павлович угас на сорок девятом году жизни тихо и неприметно, как угасает летний день.

Большой дом с мезонином и верандой, срубленный классически, в лапу, из толстых сосновых бревен (от них в жаркий день даже через много-много лет пахло смолой, лесом), Ане казалось, стоял на пологом склоне всегда и будет стоять вечно вместе с тополевой посадкой и правильным квадратом сада на двух десятинах земли.

Отца Аня не помнила, лишь в самый последний момент, когда выносили гроб, зацепилась она, как за порожек, недоумением: «Почему старый? Почему борода?..» Это врезалось в память. И то, как тетка твердила в ответ: «Да не дедушка это, не дедушка – отец твой родной! Усы и борода у него смолodu». И все. Дальше отпечаток бытия размазался, растекся в мелкие детали, они иной раз вспыхивали ярко, от ерунды непонятной, неприемлемой на первый взгляд похожести, когда не понять, было такое с ней, с ними со всеми или это только видение, или отзвук сна. Часто у нее возникали вопросы к маме, но Евдокия Матвеевна – женщина своенравная, даже жестокая порой, вклученная в бесконечные хлопоты по большому, хоть и порушенному хозяйству, – отмахивалась или вспоминала что-нибудь с нескрываемой обидой: «Тебе уж барынькой не бывать. Не тебеби душу!»

Зато иногда рассказывала бабушка Акулина. Начинала чаще с того, что по настоянию Георгия Павловича поставили для нее на усадьбе небольшой домик и обналичили по ее просьбе резными кокошниками. Как сказал он: «Живи Христа ради...» Она каждый раз оглядывала, если сидели на улице, этот ладный подбористый домик, разгороженный на две половины как бы наново и повторяла:

– Живи Христа ради, Окулина Романовна, – окая на вятский манер, – пока жив, обиды не будет.

Случалось зимой, когда чесала шерсть или вязала, вспоминала бабушка Акулина деревню родную, что стояла на правом крутом берегу реки Вятки, на бедных суглинистых землях. Как бегала девкой на посиделки... Как прислуживала деду Даниле, ушедшему служить не в свой черед вместо старшего женатого не ко времени брата Харитона. Пересказывала с чужих слов, что поклялись на иконе братья перед отцом и Богом: уж коль вернется Данила со службы, станут его содержать до самой смерти...

Умильно до слез вспоминать ей такое. А внучка Анечка торопит: ну, а дальше что?

– Что дальше?.. С самой Балканской войны от него ни слуху ни духу лет семь, может, восемь. Уже в поминальник вписали и свечи ставили перед иконой Матери всех скорбей наших.

Вдруг привозят деда Донила на телеге, как барина. Волостной старшина с земским начальником в избу вошли, огляделись со свету и объясняют, что самим государем нашим Александром Вторым пожалована ему медаль за службу и пенсия. Если будет какое притеснение, мол, строго спросим.

Дед Харитон отвечает им: «Знамо дело. Что мы, босурманы – крестное целование нарушать?»

Отвели в дому ему лучший угол за печкой, а он немного пожил и заупрямился. Говорит: «Я человек старый, больной, поэтому хоть землянку ройте, но чтоб отдельно». У младшего

ихнего брата Севостьяна сруб готовый под баню стоял. Вот его к нам и перевезли. Окна ширше прорубили, сени приладили, навес – получилась ладная светелка. Мне, вот как тебе, годков десять тогда было. Позвал дед Харитон и строгим голосом наказал, как счас, помню:

– Будешь теперь, Окулька, при ем, при Донице, аки пред Господом Богом в строгости и аккурате.

Так я стала «подай-принеси». Правда, дед Донила человек с понятием, спокойный – одно слово, русский солдат. Что повидал, врагу не пожелаешь. Ранили его дважды во время войны, потом раненый в плен попал к туркам. На цепи сидел, хуже собаки иной. Но душой богатырь, бежал из плена и долго скитался по горам. Как сам говорил: «Совсем помирал, вдруг виденье снизошло в виде Христа. Полз, полз к нему, а в селение выполз». Крестьяне болгарские подобрали. В деревеньке той горной травница жила знатная, она-то и вылечила, выходила да премудростям разным обучила. Несколько лет он там прожил. Все не отпускали, уговаривали остаться... Но прибился дед Донила к какому-то обозу и ушел, чтоб на родную сторонку попасть.

К нему знахарка наша местная ходила из Сретенья – бабка Фроська. Старая-престарая, счет годам потеряла, но знающая, не чета мне. Так я при ей да при деде Донице кой-чему научилась. Бабка Фроська после-то клятву взяла с меня, на крови заговорную... А что за клятва, то не про всякий раз говорится.

Крутится веретенце, мелькает головка точеная с синим ободочком, ровно ложится нитка, виток за витком, а бывает, что и оборвется. Так и рассказ бабушки Акулины.

Иногда усадит внучку за «Травник», Малявиным даренный. Ткнет пальцем в картинку, скажет: «Вот здесь-ка почитай». Внучка читает медленно, нараспев, но Акулина слушает внимательно, кивает порой, а потом вдруг: «Ну-ко еще раз перечти...» А то принесет пучок травы и сама удивляется: «Мы все – красавка, красавка, а по-книжному вон как».

У бабушки Акулины не как дома. Кусок тыквы печеной, и тот слаще. А готовить соленья, овощи хранить в погребе – это она первая, у нее мартовская морковка сочная и так хрустит, будто только с грядки. Станут расспрашивать, хвалить, а она с улыбочкой: «Вятские огородники ширые, не чета иным».

А раз под Новый год...

С чего-то завелся разговор, вспомнила бабушка Акулина мужа своего Матвея, какой он справный и веселый мужик был, хотя с виду простоват, как многие вятские, а в деле ловок, похватист. И с характером. Настоял на своем, сразу после женитьбы отделился. Тут бы пару сынов, а как в наказание – девки да девки. С одного надела разве прокормишься? А уж на продажу, чтоб в лавку потом сходить, и вовсе... Стал он по ближайшим селам ходить портняжить, навык у него от отца имелся. А позже, как третьего коня завели, подальше выезжал со своей мануфактурой. Тут пошли заработки и того лучше. Только на конец села заедет, хозяйки вперехват, потому что знали его как мастера честного, трезвого.

– Обычно за неделю до Рождества Мотвей домой возвращался с гостинцами. А тут все нет и нет. Истомилась. Под самое Рождество разговелись мы, как положено, сразу после первой звезды. Погоревали, что Мотвея с нами нет. Разморило девок от обильной еды... Фроська тогда в невестах ходила, Дусе – годков десять, Дашке – пять, а Любашка голозадая ползала. Рано они улеглись, успокоились, да и я, намаявшись за день, придремала. И вот привиделось мне, что дверь стукнула, входит Мотвей, весь снегом занесенный, да и говорит: «Заблудился я малость». Вскинулась я, а нет никого. Сердце торкается в груди, выскочить готово. Прилегла, а что-то не по себе, кажется, будто снег скрипит, конь всхрапывает, копытами стучит. Осенила я себя крестным знаменiem, Фроську разбудила и вышла на крыльцо. Стою, вслушиваюсь...

Тут Серко учуял меня, заржал, копытом в ворота стучит. Думала я поначалу, что Мотвей пьяный спит. Сунулась к нему, а он весь – как в панцире ледяном. Я заголосила, собаки по деревне гвалт подняли. Фроська соседей позвала, помогли его в избу затащить. Как глянули...

Боже праведный! Это кровь на нем вместе со снегом смерзлась. Думали, что неживой. Но когда теплой водой обмыли, он постанывать стал.

Рано утром дядя... Отца-то его, Кондрата-скорняка, в ту пору в живых не было. Так вот, дядя в волость поехали за фельдшером и заявить о разбое да самим разных людей поспросить. После вот что рассказывали.

Ехал Мотвей из пригородного села Никодимовское, торопился, чтоб засветло поспеть, да не россчитал. Конь притомился. Остановился он в Криушах – ближе к нам село – коня подкормить да самому обогреться. Зашел в хорчевню горячего похлебать и решил, видать, что добрался, на рюмку водки польстился с мороза-то. Половой припомнил Мотвея и тех двоих, что с ним рядом сидели, потому что браниться они меж собой начали и полуштоф недопитый на пол уронили. Что не поделили, он не знал, а помнил хорошо, потому что Мотвей расплатился и дал на чай в честь праздника.

Видать, пока он россчитывался, а потом коня подпрягал, те двое опередили его. Пристроились в балочке поджидать... Дядя вместе с мировым посредником место, где у кустов снег натопан, отыскиали. На подъеме его перехватили. Драка серьезная завязалась. Попервой он отбился от них дрыном, что с собой возил, а вдругорядь, на самом взлобке, Матвея ножом пырнули, с ног сбили. Да он, видать, за грядущку у саней зацепился, заблажил дико, Серко и понес с испугу голопом. С полверсты, говорили, тащил волоком, а кровь-то из раны хлестала, снег пятнала. То ли конь притомился, встал, сам ли он сумел в сани влезть на ходу, то одному Богу ведомо. Серко – конь умный, бывалый, со стригунков вскормлен Мотвеем, сам дорогу к дому нашел.

Раз только опамятовал Мотвеюшка. Глаза приоткрыл, что-то вышептывает. Дала ему снадобье, питье теплое. Полежал он и снова шепчет, спрашивает:

– Дома ли?

– Да дома ты, родимый наш, – отвечаю ему, – все цело, ничего не пропало... – А он глаза смежил и затих.

Смахнет бабушка Акулина набежавшие слезы, помолчит, погорюет тихонько, да и станет о травках целебных рассказывать, где обычно иван-да-марья, золототысячник, чистотел растет, от каких хворей помогает:

– Одолень-травка хорошо помогает, коли кто почки застудит, а еще от глазных разных болезней. А лапчатка, или, как еще ее называют, гусятая трава, да она всюду растет, и возле нашего дома, знаешь ты ее, так вот она корнем сильна, из него примочки хороши от ран, от лишаев и корост. Но знать надо, когда лучше травку сорвать. Да угадать верно, кому из чего травный отвар приготовить – это дело особое. Почечуй тот же вскочит – седня лучше одно, завтра другое, да и люди все разные. Над одним слово верное скажешь, почечуй и потек, гадью вывернулся, а с иным мудруешь припарками, да все никак. Но сколько ни мудрой, без слова верного наговорного силы в травках не будет. Ой, не бу-удет... После Вербного воскресенья пообдует, почки набухнут, так мы с тобой за выгон в березнячок сходим. А после к запруде за мать-мачехой. Так оно и пойдет своим чередом.

Чаще шли к ней из ближнего Авдона, иных привозили из Сергеевки и Балабанова, изредка – из Осоргино, Холопово, Алкино. Первым делом бабушка Акулина поговорит, расспросит не про болезнь вовсе, а разные разности деревенские, про детишек, родню. Потом неторопко место больное ощупает, пошепчет чуть слышно, отвару даст выпить травного, мазь вотрет, если нужно. Бывало, тут же на печку теплую заставит забраться. А сама все говорит, говорит, ровно убаюкивает. В домике тихо, тепло, травками пахнет, мятой свежезаваренной.

Раз как-то забежала Анечка в домик утром ранним, а там на лавке мужик лежит бородатый с открытыми глазами, как мертвый. Страшно ей стало, попятилась. Бабушка Акулина глянула строго, как приморозила, а сама вычитывает над ним и вычитывает древний заговор, который Аня не раз слышала: «Господи Боже, благослови! Во имя Отца и Сына, и Святого

Духа, аминь. Как Господь Бог небо и землю, воды и звезды, и сырую мать сыру-землю твердо утвердил, крепко укрепил, и как на той мать-сырой земле нет никакой болезни, ни кровяной раны, ни шипоты, ни ломоты, ни опухоли, – так бы сотворил Господь и меня, раба Божия Николая, твердо утведил и крепко укрепил жилы мои и кости мои, и белое тело мое; так бы и у меня, раба Божия Николая, не было на белом теле, на ретивом сердце, ни на костях моих никакой болезни, ни крови, ни раны, ни ломоты, ни опухоли. Един архангельский ключ, во веки веков, аминь».

Потом водичкой на этого Николая брызнула, встать велела. Он и поднялся. Постоял, как бы прислушиваясь. Потом ногой – топ, другой – топ, и замер опять. И как вдарит ногами под припевку, да ловко так, весело! Говорит:

– Ох, старая, спасла! Неделю коромыслом ходил, разогнуться не мог. Должник твой. Как начнем дрова готовить – так два воза с меня.

Случалось, забывали болящие про обещания, если снова хвороба не нападет, а она не сердилась, не поминала, денег за лечение и вовсе не брала, как поклялась бабке Фроське. Но сахарок и прянички у нее не переводились, а платков дареных – хоть всю неделю меняй.

– А что ж ты, бабуль, всех лечишь, лечишь, а папу моего не смогла? – обиженно выговорила как-то раз Анечка.

– Когда он болел, я всегда первая. Однажды осенью Георгий Палыч под ливень попал, да лешак его с просеки сбил, полночи плутал. Утром горячка напала, смотреть страшно. Так я его в три дня на ноги поставила. Или вот весной ранней, когда яблони обрезали, вступило ему в поясницу, так тоже меня позвал.

А потом что с ним случилось, тому названья не знаю. Как Павлушу, ангела нашего, схоронили, забываться он начал. Тужил крепко. Зла никому не делал, и надо же!.. Ох, бесовство! – вздыхает бабушка Акулина и крестится, глянув с надеждой на Божию Матерь-заступницу, что висит над всеми иконами в красном углу.

Он уж начал оттаивать, а тут новая беда: налетели на усадьбу конные – красные ли, черные, черт их разберет, – все разграбили, пчельню порушили, скотину угнали, только кобылу жеребую они в тот раз не тронули. Вот после этого он снова в кабинет свой забился и почти не выходил. Докторов потом к нему привозили. Один вовсе знатный, что иной генерал... Меня уже не звали. Я сама иногда заходила. Спрошу: где болит-то? А он, сердешный, ткнет кулаком в грудь и молчит. Молчун стал в болезни, не приведи господи. Так молчком, ни разу ни охнув, истаял... Барин все же, не крестьянского роду-племени.

Глазки у бабушки Акулины маленькие, чуть прищуренные, нос крупный, картофелиной, и от этого лицо простодушное, особенно когда улыбается, распустив морщинки по лицу; но глянет на человека из-под век – словно лучик блеснет: тут она не ошибется. Она и Степана Чуброва, что в двадцать четвертом году к хутору прибился, отговаривала брать в работники. Не послушались... «Ндравные больно».

Зато Тимофея Шапкина она высмотрела.

Зимой загостила Акулина Романовна у дальней вятской родни. Домой пора ехать, да вот кум идет, потом кума, сват: «Акулина, погости, Христа ради, и у нас. Хозяйка-то опару уже завела...» Знают, поживет бабушка Акулина пару дней в избе – и вроде бы потолок выше стал, свекровь со снохой не лаются, детвора от болячек избавится. И корова легко отелится. Слобода хоть и пригородная, а все как в деревне.

Вдруг пришел мужичонка обтерханный – посыльный. Говорит, что просит ее зайти Шапкин Семен Петрович. Она знать не знала Шапкиных, и дела до них не было, но раз зовут лекарку, то надо идти. По дороге Акулина посыльного тихонько выспросила – вызнала, что Шапкины – люди зажиточные, семейство известное в городе, хотя дед их, ныне покойник, начинал простым офеней. А сыновья уже в институтах учились, один провизором стал, другой

– инженером, и только младший к делу не прибил, по свету блукает, может, и сгинул совсем. А самый старший среди них – Семен Петрович.

У Шапкиных дом большой, двухэтажный, из красного кирпича сложен без особых затей, но основательно, по-купчески. Провели ее к Семену Петровичу. Пока ей стул подставляли да усаживали, она успела разглядеть, что Шапкину чуть за шестьдесят, но спину держит прямо, не сутулится, борода красивая, с проседью, коротко подстрижена, старик еще крепкий... Вот только лицо одутловатое, а в глазах желтизна нехорошая. Желчь бы надо согнать, золототысячником попоить перво-наперво, решила она.

– Нога совсем отнимается, – пожаловался он. – Который месяц доктора ходят, а улучшения нет. Вот так и сижу. А про тебя истопник рассказал... Возьмешься? Можешь помочь?! – Глянул строго, потому что сердился, что поддался на уговоры родни, пригласил эту деревенскую бабу. – Только чтоб без вранья!

Однако Акулину голосом не возьмешь.

– В Бога веруешь?

– Да как же... – сбился с тона Шапкин. – Я человек строгого воспитания.

– Тогда помолись за выздоровление свое, а я уж, как умею, помогать буду. Только наперед скажи, не таясь: может, грех нераскаянный мучает? Или деньги чужие?.. Человек-то ты, Семен Петрович, как я погляжу, богатый.

– Богатым особо не был, а достаток всегда имелся. Теперь же вот – что на мне да полдома оставили. Грозятся еще кухню оттяпать. А на днях из губернского революционного комитета бумагу прислали – возвращаем мукомолку. Раздели донага, все разграбили, а теперь говорят: накорми нас, Семен Петрович. Стервецы! Вот вам! Вот!.. – забасил Шапкин и вымахнул в сторону двери кулак с кукишем.

Помолчали.

– Ты уж реши, уважаемый: отказаться или пустить свой завод на потребу людскую. А как решишь, присылай человека, если угодна тебе.

Скривил Шапкин лицо, но сдержался, яриться не стал. Уловил, что знахарка лишь с виду проста, а цену-то себе знает, да и не глупа. Позвал сноху, велел чаю принести да печенья свежего, что утром пекли.

Под чаек, а чаек-то настоящий, шилкинский, пошел у них разговор тихий, хороший, как умела вести его Акулина. Особо не выспрашивала, но вскоре много чего знала про Шапкиных: когда занедужил и с чего. Даже про мальчишку, что внизу лазил по буфету, едва она вошла в дом.

– Рыжеватенький?.. Так то Венька. Ох, шкодный малый! В кого такой? Отец его мне племянником приходится, Тимофеем зовут. Он и по кузнечному делу, и оружие чинит, и механик... Мастер, короче. А не везет мужику. Сам Тимофей жил в сиротстве, потому что отец его – брат мой Изотик – еще при Александре Третьем с революционерами спутался и сгинул. Мать его вскорости померла от чахотки, поэтому Тимоха скитался по родне. Нет, его не обижали, в Александровском реальном сначала учился, затем в ремесленном училище. Всегда помогали, а все одно – не у родных отца с матерью. И вот же напасть! В двадцать первом жена его померла от тифа, бедует он теперь с сыном.

Ровно через семь дней, как попоила Акулина Романовна настоем золототысячника и «отчитала зори», стал Семен Петрович по комнате с палочкой прохаживаться. Повеселел.

Как-то она пошла на кухню за горячей водой, чтоб подлить в полукадь, где Шапкин ноги парил в травном отваре, а за длинным столом сидит мужчина с малолеткой лет девяти и неторопливо хлебает суп. Пока кухарка чугуны двигала да воду отчерпывала, присела она на стул простой деревянный.

– Тебя вроде бы Тимофеем зовут? – спросила Акулина, блеснув своим взглядом-лучиком из-под век. – Говорят, по железу ты большой мастер?

– Да, обучен. Умею, – ответил он серьезно, с достоинством и отложил ложку. Подбил-подправил указательным пальцем, как линейкой, аккуратные солдатские усы, чем сразу напомнил ей деда Данилу.

– А конные грабли можешь? А швейную машинку?.. – все пытала она. Потом предложила: – Может, приедешь к нам на хутор? Роботы много по железу скопилось.

– Смотря как платить будете.

– Да уж не обидим. Можем продуктами. Свининкой? Картошечкой? А нет, так и денег немного найдем. Это в четырнадцати верстах от городской переправы, рядом с Авдоном.

– Да-а, неблизко. А у меня инструмент.

– Так мы лошадь пришлем прямо сюда.

На том и поладили. Акулина все разглядела. Красавцем Тимофея не назовешь, но лицо приятное, глаза чистые, руки лопатой, весь – как комель дубовый. «А если и выпивает, то под обрез», – решила она.

Надумала у старшего Шапкина поддержкой заручиться. Объяснила ему про Евдокию, про хозяйство, где без мужика просто гибель.

– Как, ты говоришь, хутор-то называется?.. Малявинский. Ага, это не того ли, что в земстве работал?.. – вспомнил Семен Петрович. – Как же не знать! Мы с ним в одно земское собрание ходили. Он крупчатку только у меня покупал. Каждый раз, как приедет, в лабораторию идет со стариком Долговым побеседовать... Был у меня такой грамотей, знаток всех местных сортов. С умом делалось. Сортная пшеничка – отдельно. И платил за нее я на гривенник подороже. Вроде бы накладно, а с другой стороны, во всей, пожалуй, губернии не было такой славной муки тонкого помола. Первейшая на калачи и булки. А теперь – эх!.. На что у нас Мотря умелица, а все не то! Смаку нет в хлебе, духу настоящего

Акулина после сытного обеда чуть придремала, сидя на кушеточке у стены, а как услышала про хлеб, встрепелась:

– Да разве я не помню! Чтоб колачи и сдобные булки каждый день – нет, до такого баловства не доходили, но зато в праздники, в воскресенье – обязательно. Как хлеб выпекут – Овдотья у нас умелица, да и Дашка сноровиста – да из русской печи вынут, то дух такой, что за версту от хутора слышно. И токой мяконький, токой подъемистый, пышный, что мужик дова-нет сверху – и хлебушек, бедный, в лепешку сплющится да тут же обратно взбухает.

– А Малявин, говоришь, помер? Царство ему небесное, хороший был человек... Женить бы Тимофея неплохо. Дело стоящее. Дом без хозяина, без мужика – это понятно. Если сладится у них, я бы помог Тимофею на обзаведение.

Акулина Романовна покивала и стала собираться домой. С удовольствием собиралась – знала, что отвезут без хлопот и подарков положат.

Славная бабушка Акулина!.. Для нее хворь полечить – что воды дать напиться. За редкой травкой вверх по Уфимке ходила за семьдесят верст пешком. А уж окрестности-то в уезде все исходила и жалела, что редко отпускает с ней внучку Евдокия, чаще из-за скарденности своей: некому за гусями смотреть да за телятком. Спорила с дочерью, иногда чуть не силком Аню уводила, потому что помнила свято, как обещала бабке Фроське передать умение свое. А та страшила: мол, иначе не примет тебя земля, будешь блукать по ночам, мучиться. Не больно-то верила нынче в такое, но умом понимала, что выучить внучку Анечку надо. Она уже травки отличала, в силу их чудодейственную поверила и кукол своих деревянных травным отваром поила с молитвой, крестом осеняла их каждый раз, как это делала бабушка Акулина. Да вот пришла как-то из Авдонской школы начальной и говорит:

– А знахари и колдуны – обманщики. – Уверенно говорит, бойко. Сразу видно, что в школе ее подучили.

– Это кого ж, милая, я оманываю?

Насупилась Анечка, молчит, а потом вдруг:

– Ты сама говорила, что трава есть обманная.
– Так то другое. Это прозвание у ей такое. Так ее Бог наделил.
– А бога-то, бабусь, нет. Его придумали, чтоб дурить трудовой народ.
– Ишь чему в школе вас учат. А гвозди лбом забивать там не учат? Или решетом воду черпать?.. Бесовство!

Много забот у бабушки Акулины. В уезде ее знают. В Подымалове больничка своя с фельдшером и врачом, а все одно едут за Акулиной. И в городе ее охотно привечали. А она зимой ездить по гостям любила. Но за всеми каждодневными хлопотами помнила Акулина и тяготилась тем, что четверых девок без мужа сумела вырастить, а справно с семьей живет только старшая, Фроська. Любашке замуж пора – двадцать лет, и жениха ведь нашла, так нет, уперлась: «Пока не выучусь на портниху...» Днем уборщицей в пароходстве работает, вечером на курсы идет этакой городской барышней. Дашка на что добрая девка, и то характер стал портиться. Переспеваает. И ведь до чего сноровиста, похватиста, а дураки холоповские ославили, оговорили, будто она с солдатами путалась...

В апреле лишь пообсохла, окрепла дорога, отправили в город Михеича. Ждали к обеду. Хоть из серой муки, но пирогов напекли, разной всячины настряпали. Беспокоиться начали. Вдруг увидели во дворе Михеича. К нему:

– Что случилось?! Где лошадь? Где мастеровой Шапкин?
– Лошадь пасется, устала старушка... А Тимофей – слесарь этот иль кто он там – в кузне возится. Сам настоял, чтоб ссадил.

Вскоре дымок черный угольный над кузней вознесся и стукоток звонкий поплыл по округе.

Только на четвертый день он пообедал вместе со всеми и объявил, что ему завтра с утра в городе нужно быть. Послали тут же Анечку за стариком Михеичем. А пока суд да дело, взялся он ходики чинить, да что-то у него не заладилось. В доме Евдокия только на кухне возилась. Он зашел в просторную кухню, постоял у порога, оглядывая, как и что тут приспособлено, и говорит:

– Придется еще раз приехать, часы починить.
– Да стоит ли из-за одних часов приезжать? – спрашивает с умыслом Евдокия. А сама же и застыдилась, как девка молоденькая.
– Так я не только из-за часов, – отвечает Шапкин с улыбкой и без смущения. Но то, что хотелось сказать, не выговаривается.
– Понятно, из-за оплаты, – подзадоривает его Евдокия, а у самой грудь ходуном ходит, щеки пылают.

– Нет, для вас я бесплатно готов. Так позвольте приехать?..
Евдокия задом, задом – и в дверь. Чесанула под бугор в низинку у пруда! Села, уткнулась в подол и давай реветь. Даша за ней следом прибежала, стала успокаивать, а она – еще пуще, твердит свое:

– Не приедет он больше, не приедет...
Тимофей Шапкин чемоданчик деревянный с инструментом у передней грядущки пристроил, всем покивал на прощанье и, прежде чем в тарантас старый рядом с Михеичем усесться, говорит:
– У колеса правого обод лопнул, ошиновать надо бы.
– Надо, надо, да вишь, – ответил старик и руки дрожащие вперед вытянул, – восьмой десяток, чать, не шутка. А на мне пчельня, лошади, плотницкая и столярная работа. Бабы все работающие, тут нечего сказать, но как топор или молоток возьмут в руки, так прямо плакать хочется, на них глядячи. Ты бы хоть приглядел какую из них. А что?.. Евдоха – баба с норовом, скрывать не стану, зато мастерица что солить, что самогон изготовить. А уж пироги или щи

у нее!.. Из себя хоть куда, грудь колом стоит, хлеще, чем у иной молодой девки. К ней же подходить страшно, горит вся, пылает.

Шапкин аж кхекнул, спрыгнул на землю, чтоб сбить дуrolомный жаркий наплыв, пошел рядом с тарантасом, тем паче дорога шла на подъем. А старик продолжал растолковывать ему, где упала огорожа, почему прорвало запруды... Михеич пережил своего первого хозяина Павла Малявина и второго – Георгия, которого знал с малолетства, как знали всех Малявиных его отец и дед, выросшие в родовом поместье Криница, что находилось в сорока верстах от древнего города Чернигова. Михеича приставили к Гере вроде бы дядькой, но наемным работником, за плату. Всего года два Михеич жил отдельно от Малявина, когда женился на городской девке с мануфактурной фабрики. Она оказалась такой распустехой, что и под старость, вспомнив ее, Михеич ругался, плевался и хватался за кнут, если тот лежал под рукой.

А Тимофей Шапкин давно не слушал его, думал свое: как бы можно отладить на хуторе жизнь... Но тут же одергивал себя, говорил: «Что, Тимоша, в примаки захотел? Вечным зятком?.. С другой стороны, без своего угла, с сыном... А Евдокия хороша... И покраснела-то!» Он привычно подправил усы и хохотнул негромко, решив вдруг для себя: «А что, хуже не будет. Столкнемся, не по шестнадцать годочков обоим».

На четвертом году после смерти Георгия Павловича, в канун Троицы-хороводницы, Евдокия Малявина и Тимофей Шапкин отправились регистрировать брак свой по-новому, по-советски. На охромевшей кобыле Евдокия ехать наотрез отказалась, пошли пешком в Авдон.

Сельсовет помещался в пятистенке бывшего прасола Кудимова. Он поставил этот вместительный просторный дом, крытый железом, года за два до революции. Вскоре после новоселья старик Кудимов, обязанный чем-то Малявину, уговорил того зайти в гости. Было это, Евдокия вспомнила, также весной, только пораньше, после Пасхи, в Светлую седмицу. Этот прасол, разбогатевший на военных поставках, по разговору, по обхождению слыл человеком умным, рачительным. Дом обставил по-крестьянски просто, без затей. Лишь в кабинете хозяина стояли мягкие стулья с гнутыми спинками, диван и большущий письменный стол. Его Евдокия сразу узнала, когда вошли внутрь. Стол этот, похоже, не смогли унести. А может, из-за него сломали перегородку... Или хотели устроить зал для собраний – она этого не знала и знать не хотела, ее поразили загаженность, неуют в доме, лишившемся хозяина.

За столом сидел председатель по кличке Жук, покуривая толстую махорочную закрутку. Он, как и многие в Авдоне, носил фамилию прежнего владельца деревни Зубарева, но из-за кожанки и хромовых сапог, выданных при назначении на должность, получил прозвище Жук.

Он сидел хмурый, злой, потому что накануне выпивал на крестинах, не проспался, не похмелился, поэтому стал придирааться, выпытывать и всем видом показывать, что может не зарегистрировать их брак. Спросил Тимофея:

– Оголодал, что ли, в городе?.. На жирное хлебово потянуло?

Тимофей Шапкин отмолчался, это подзадорило Жука. Он швырнул документы пожилой женщине, служившей раньше школьной учительницей: «Хрен с ними. Запиши». Она записала их фамилии в потрепанную амбарную книгу и фамилии свидетелей, угрюмо сопевших сзади. Жук лихо шлепнул печати, расписался. Подавая свидетельство на тонкой серой бумажке, буркнул:

– Поздравляю! – И тут же хохотнул, сказал громко: – Можете ее... на законном основании.

Выждал, оглядывая всех вопрошающе: где же угощение ваше? Он с утра самого ждал этой минуты и предвкушал первые полстакана. Но Евдокия, растерявшись от неужога, затрапезности самого председателя, забыла выставить бутылку с закуской, как наставляли ее люди знающие.

Шапкин набычился, шагнул вперед.

– Ты бы хоть девок постеснялся...

– Это где ж тут девки? Дашка, что ль? Которая со взводом солдат переспала?

Дарья метнулась в дверь. За ней пошли остальные. Двоюродный брат Ваня, младший сын Семена Петровича, дернул Тимофея за пиджак:

– Не вяжись, Тимоха. Пойдем, пойдем...

Тимофей сдержался, кинул фуражку на голову, кивком попрощался с женщиной, оформлявшей документы.

Евдокия стояла на крыльце, прикусив губу, она чуть не плакала от злости.

Когда впервые шла под венец, не было радости, потому что сорокалетний Георгий Малявин казался очень старым, чужим. Зато тогда была торжественность, благолепие и страх оттого, что сам Господь Бог в лице изможденного сутуловатого священника ждет ответа, поэтому едва смогла выдохнуть: «Да, согласна». Не девчонка теперь, тридцать лет, и хотела поскромнее, попроще, но чтоб так вот поздравлял пьяница Жук, лодырь из лодырей, как все зубаревские, она не могла представить и в дурном сне.

– Уж лучше без печатей ихних гадючьих!

– Дали холуям власть, насосутся ноне всласть, – продекламировал Ваня Шапкин.

Все рассмеялись. Кто-то громко повторил прибаутку, и это, конечно же, слышал председатель Жук. Через несколько лет он припомнит и эти слова, и что не уважили, не поднесли, к празднику не пригласили, как это делали другие. Не позвали его – Володьку Зубарева, первейшего ныне человека в Авдоне!

Шапкин вспомнил, что собирался переписать Аню на свою фамилию. Вытащил из кармана метрику, но Евдокия потянула с крыльца: «Нет, не сейчас. Погоди. А то дело до драки дойдет».

Так и осталась Анна Малявиной. Позже, в середине тридцатых годов, ей очень захочется сменить фамилию. А в сороковом она сменит, но ненадолго. И потом, уже независимо от желания и хотения, будет носить ее до самой смерти...

Молодожены недолго грустили. Уже пахло на всю округу свежим хлебом, жареным мясом. Уже сливали в четверти отстоявшуюся медовуху, благо, что мед свой, не заемный. Из погреба таскали ведрами соленья. Разливали по бутылкам сизоватый самогон крепости отменной. Тут же, протерев бутылки фартуком, выставляли их на стол из свежеструганных липовых досок. Стол и скамейки сколотил Тимофей Шапкин. И даже навес небольшой соорудил на случай дождя. Но не будет дождя. Небо июньское чистое, высокующее. И всего вдоволь, с запасом, и кажется, никогда не переведется изобилие на этом ограбленном, но еще крепком и обстоятельном хуторе...

Глава 7

Алый мак

Тимофею Изотиковичу в тот год исполнялось восемьдесят, но по делам своим он был еще молодцом и ни разу не отказался от ремонта механизмов в санатории, на станции или в лесхозе, где его знали как мастера полста лет. Приглашали в последние годы нечасто, потому что у штатных работников это задевало самолюбие.

Каждый раз, пока он одевался, укладывал инструмент, Евдокия Матвеевна успевала собрать тормозок немудреный, пусть ехал ненадолго, ритуал этот соблюдался неукоснительно. Меньше всего ему платили в санатории, где он проработал не один десяток лет, но каждый раз кормили хорошим обедом в специально отведенном кабинете для главного врача санатория и заезжих чиновников. Встречал его в такие авральные дни заместитель, не гнушался, находил время поговорить, справиться о здоровье Евдокии Матвеевны, сразу располагал уважительным отношением, что с годами все больше и больше ценил в людях Тимофей Шапкин. Его вели в кумысолечебницу или терапевтический блок, заглядывали в глаза и, не скрывая тревоги, спрашивали:

– Как, Тимофей Изотикович, до среды справитесь? А то, понимаете ж!..

И он понимал. Если надо, выделяли помощников, но чаще один неторопливо собирал и пересобирав агрегат, добиваясь предельно четкой работы. В такие дни приезжал домой к ночи. Раздевался с ворчливым кряхтением: «Осталась малость ремонту, а сил уж нет».

В апреле из санатория привезли поздравительный адрес с подписью главного врача и транзисторный радиоприемник.

Точной даты не существовало – больше того, случалось, что Евдокия Матвеевна, словно бы задетая поздравителями, а заходили иной раз люди совсем малознакомые, выговаривала:

– А ведь восемьдесят тебе только через год будет... приписал себе лишнее.

– Вот ты придумала, Евдокия! Я что, по-твоему, запись в церковно-приходской книге исправил?

– А кто в них заглядывал, когда после той переписи паспорта выдавали?

– Тогда давай посчитаем, в каком году я на службу призвался?..

Никому не понятно, из-за чего каждый раз начинается спор и как обстоит на самом деле. Но поздравлять Тимофея Изотиковича решили в июне. Так заранее и сговорились, чтоб без разнобоя съехаться в последнюю субботу июня.

Заранее приехала из Москвы с мужем Димой любимейшая внучка Настя. Приехала Анна, чтобы помочь матери с приготовлениями к празднику, но из кухни ее с твердой настойчивостью изгнали, оставили на подхвате, чтобы нестись по первому зову с пучком зеленого лука или ведром воды. А Тимофей Изотикович в тот пятничный день сидел у распахнутого окна в просторных сенях и слушал рассказ Димы о его последней поездке в Индию, как ему, русскому инженеру и коммунисту, довелось, опаздывая к поезду, ехать на рикше, и он испереживался, и порывался бежать рядом с индийцем, но тот на исковерканном английском умолял сесть обратно, убеждая, насколько мог понять Дима, что это совсем невысокая плата, что он может еще на полрупии снизить ее...

Владиславлев поздоровался с Шапкиным как давний знакомый, представился Дмитрию, извинился за неожиданное вторжение и, ничуть не смутясь от холодной вежливости обоих, попросил уделить ему полчаса.

– Разве можно у нас прокурору отказать? – пошутил Шапкин, стремясь приглушить недовольство и тот легкий мандраж, который возникает у любого самого честного человека, когда к нему на дом является милиционер. – Садитесь вот на этот стул. Какие будут вопросы?..

– Если позволите, я закурю?..

Владиславеу курить не хотелось, но другого способа преодолеть напряжение первых минут он не знал.

– Должен признаться, был не прав. Вы безошибочно точно признали в убитом Степана Чуброва. Но остается одна заковыка. Повторная экспертиза показала, что у него значительно смещены шейные позвонки. Если проще сказать, кто-то рукастый... – следователь невольно глянул на мощные ладони Шапкина, лежавшие на столе, – повернул Чуброву голову на сто восемьдесят градусов так резко, что он не успел воспользоваться ни самодельным пистолетом, ни складным ножиком. Странно, да? Тем более странно для опытного зэка. Я сделал выписку из его личного дела. Вот посмотрите... или нет, давайте лучше прочту:

«Чубров Степан Игнатьевич, уроженец села Крупяное Ростовской губернии Кагальского уезда. Год рождения 1903. Уфимским выездным судом 26 февраля 1930 года приговорен к десяти годам лишения свободы. В 1934 году совершил побег из мест заключения и в этом же году водворен в сыктывкарский лагерь без зачета ранее отбытого наказания. Второй побег в 1947 году...»

– Но в 1953 году его амнистировали полностью. Читаем дальше:

«В 1954 году Чубров С.Г. задержан после ограбления проводника поезда Хабаровск – Москва и приговорен нарсудом города Иркутска к восьми годам лишения свободы. А в 1956 году совершает очередной побег из мест заключения. При задержании тяжело ранил заточкой милиционера Ускова В.И. Осужден Кировским нарсудом г. Нижний Тагил на пятнадцать лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В 1967 году переведен после отбытия двух третей в колонию-поселение. В 1970 году в юбилей В.И. Ленина попадает под амнистию и в июле выходит на свободу с ограничениями по проживанию в ряде мест страны. Отбыл согласно справке, выданной ИТК, в Ростовскую область».

– Почти сорок лет в лагерях! При этом три побега – редчайший случай. Вот и возникает вопрос: неужели его гнала сюда только месть? А может быть, что-то иное?.. В архивном деле, которое мне удалось обнаружить, имеется ваше заявление в связи с убийством Сысоевой Любови Матвеевны и пропажей Сысоевой Акулины Романовны. Но нет протокола свидетельских показаний...

– Может быть, мне уйти? – спросил Дмитрий, поднимаясь со скамьи.

– Да сиди, чего это ты? Дело давнее... Нет моих показаний, вы говорите? – переспросил Шапкин, вглядываясь в следователя, но при этом как бы не замечая его. – Давал показания, точно помню. Меня следователь по фамилии...

– Волков?

– Да! Волков вызвал нарочным в Авдон. Там в сельсовете я и давал эти показания. А до того Волков приезжал с милиционерами на Малявинский хутор, когда Любу убитой нашли. Брели со всех объяснения. Вдвоем они приезжали... А потом все затихло, вроде как и следов не нашли. А произошло это перед Рождеством. Надо было ехать в город за покупками, дочку забрать на каникулы, тещу привезти, которая загостилась без меры. Первым делом заехал я к родственникам, что у Нагорного спуска жили, где, по словам Степана, сошла Акулина Романовна, чтоб на несколько дней задержаться.

Кумовья наши удивились: «Напутал ты, Тимофей, чегой-то». Посмеялись еще: «Али праздновать загодя начал?» Короче, чайку перекусили, новостями обменялись, и поехал я к старшей ее дочери. Приехал. Поздравил, гостинец передал, про мать спрашиваю, а Фрося глаза выкатила...

Тут вместе поехали мы по родственникам. Целый день впустую – нет нигде! Под вечер вернулся я на правобережку за дочерью, а она зареванная, выговаривает мне:

– Я думала, меня тут совсем бросили!

Про хозяйкины каверзы рассказывает, что та у нее всю картошку истребила, и она который день без горячего мается. Рассказывает и аж трясется вся в рыданиях.

Хозяйка выскочила из своей половины на Аньку всяко-разно без церемоний, а по глазам рыскающим вижу, что врет. По-хорошему заночевать надо, но раз такой скандал, то подхватились в пять минут и поехали обратно на хутор. А душу саднит, муторит непонятное что-то.

До Авдона версты две оставалось, когда топот конский раздался. Вроде бы за спиной снег хрустит под копытами, а оглянешься – нет никого. Я пожалел крепко, что ружье не прихватил. Топор из-под сена вытащил, к ладони прилаживаю. Тут он из-за поворота и выскочил. Летит наметом прямо на нас, снег на три метра из-под копыт. Возле нас осадил так резко коня, что он свечой взвился. Конь рослый, красивый, а на нем плюгаш Зубарев по кличке Жук.

– Что, Шапкин, обдристался, небось? – хохочет Жук. – Подожди, умою еще тебя!

Его за пьянство-то с председателей сняли, но при начальстве оставили. Ничего не ответил я ему, хоть он и нарывался, потрусили мы себе дальше. А он коня плеткой ожег и снова в намет по морозу, хоть тут и дураку ясно, что коня запалить можно.

Приехали домой мы к полночи самой. Гнедко, как конюшню родную учуял, заржал, рысью пошел. К воротам с фонарем керосиновым Евдоша летит. Следом Венька в козушке на голое тело.

– Напугали до смерти! Нету и нету, не знали, что и подумать.

Утром я скотину напоил, прибрал и к Чубровым пошел. Поздравил с праздником, о том о сем переговорил, а Дашка за стол тянет, на нем бутылек возвышается и пирог мясной румяной корочкой светится. Выпили по одной, и тут я промеж разговору спрашиваю Степана:

– А где ты тещу бросил?

Как тут он вызверился на меня! Из-за стола выскочил и понес разную ерунду.

– Осади! – говорю ему строго и никак понять не могу, с чего он вдруг разорался. – Я вчера целый день по городу рыскал.

Даша меж нас курицей бьется: чего это вы в праздник сцепились?

А Степан все ворчит недовольно: «Что я, вашей ворожее охранник?! Попросилась у Нагорного спуска слезть, а мне что, валандаться с ней? Своих забот хватает».

– Может, и правда, кто из чужих перехватил, – успокаивает Даша. – У твоего дядюшки покойного сколько?.. Считай, месяц лекарила.

Выпили еще по рюмке, больше не могу, и разговор не клеится. Благо хоть Анька младшего нашего Славика привела, и оба в один голос:

– Ты же нам елочку обещал поставить!

Дарья им конфет, печенья натолкала, они поутихли. А я рюмку еще одну силком выпил – и домой.

Ане тогда тринадцатый год шел. Девочка сметливая, сообразительная. По дороге к дому говорит вдруг:

– Глянь, какую конфету тетка дала! Мне такие же бабушка Акулина давала. «Красный мак» называются. Я конфеты съела, а фантики остались...

– Это когда она давала?

– А когда со Степаном заезжали по пути на хутор.

Тут меня ровно в бок кто толкнул. Вспомнил, как Дашка хвалилась, что Степан из города трезвый приехал, мешок отрубей для телянка привез, да еще подарков разных, чего раньше за ним не водилось. Теперь стало понятнее, почему он так вскинулся, когда я про тещу спросил. Дальше – больше. Вспомнил, что когда меня привели понятым в тещин домик, то крышка у сундука, разбитая вдребезги, где осенью золотые монеты обнаружили, сразу в глаза бросилась...

Тут я особо не раздумывал. Запряг Гнедко, Евдокии наказал, чтоб никого в дом ни под каким предлогом не пускала, и только за ворота выехал, Степан из калитки выходит.

- Куда порысил?
- В Авдон, кумовьев пригласить на гулянку.
- Так и я с тобой, приятеля надо провести...

Сообразил, что раскрыл Степка меня, но теленком прикидываюсь. Хотел он сзади усесться, а я сам в задок передвинулся. Сел он полубоком ко мне, как судак замороженный. Едем. Я все прикидываю, где же он кинуться на меня попытается. На спуске в Волчий овраг вдруг он как гаркнет на коня, тот и понес под уклон. Он ждал, что я осаживать коня вожжами стану, кинулся на меня, а я левой рукой отбил его, а уж правой вмазал так, что он с саней полетел. Штык-нож, которым мы скотину забивали, у него отобрал и бока ему поднамял, а затем руки плеткой связал. Он все молчал, а уж когда милиционерам передавал, ко мне повернулся и говорит этак спокойно: «Давно бы надо тебя кончить». Меня, честно скажу, от пяток до макушки приморозило.

- Скажите, Тимофей Изотикович, а могли в крышке ценности другие храниться?
- Запросто. Сундук-то огромный, крышка под стать ему, там в двойном дне черт-те что можно спрятать. Мы не сообразили...
- А голову вы ему могли бы свернуть, доведись встретиться?
- Нет, для этого ярость нужна. Тогда, в двадцать девятом, было такое желание, но и то рук марать не стал. А теперь и подавно.
- Тимофей Изотикович, это же безобразие! Следователь вас провоцирует, – гневно стал выговаривать Дмитрий.
- Пусть, Дима, пусть в сыщика играет.
- Напрасно вы, Дмитрий! Я не хотел никого обидеть. – Владиславлев смутился до красноты. – Извините, Тимофей Изотикович. Мне просто понять хочется. Он же сам показал место, где прикопал в снегу тещу?

– Меня они тоже возили. Степка все, как было, показывал. Он с дороги свернул, взял топор, осмотрелся кругом и говорит Акулине Романовне: «Пойдем, глянешь, я там елочку хорошую присмотрел». Чтоб ее, значит, не тащить от дороги. А она, видно, угадала. Стала блажить, умолять его не брать грех на душу. Тут он и рубанул. Да по первой промахнулся. Вторым разом голову ей рассек надвое. А когда тащил от дороги, кровь натекла на штаны и на валенки. После он одежду сам в бане отмыл, а вот правую калошу не промыл изнутри. Это вместе с фантиками от конфет «Красный мак» стало главной уликой. Степан наотрез поначалу отказывался.

- И что же, ничего не открыл?
- Нет, он тогда проговорился, когда обнаружил у тещи один-единственный золотой, то и пожалел, что поторопился, не стал пытаться...
- Значит, не знал заранее? Про сундук?
- Да как же не знал! Все на хуторе знали, как случайно открылся в сундуке тайник с золотыми монетами.
- Ну и тему вы нашли, папа, под праздник! – сказала Анна. Она давно стояла в дверном проеме с бледным лицом. Больше сорока лет прошло, а все так и доставала, как свежая, обида за бабушку Акулину, добрее которой она с той поры не знала никого. – Я мистикой не увлекалась, но уверена, что Степан не человек в прямом смысле, а оборотень. Его даже наш огромный Полкан боялся, шерсть на загривке вздыбливал и убегал.
- Удивительно! Анна Григорьевна, вы же образованная женщина, как вы можете верить в подобные сказки! – укорил ее Дмитрий.
- Это не я придумала, так бабушка Акулина считала.
- И в кого же он перевоплощался? – с улыбкой саркастической спросил Владиславлев.
- В волка. Не всегда, конечно, а в какие-то особые дни. И у Любы, вспомните, была рваная рана на горле. Как он смотрел, бывало, из-за плеча, словно у него глаза на затылке... А

прикончил его напарник, который был с ним в бегах. Когда понял, что драгоценностей никаких нет, что это выдумка. Он Чуброва сначала сбил с ног, а потом в спину уперся коленом и вывернул голову вместе с шейными позвонками. Он так и лежал в снегу, пока его на спину не перевернули.

– Но ведь три побега из лагерей! Чтобы воткнуть нож? Убить?.. Нет. Обида, какой бы страшной ни была, с годами притупляется. Тут что-то иное...

– Так я вам и объясняю – оборотень. Зверь! У него другие мерки, другие поступки.

– Ну Анна! Ну навывдумывала! Фантазеркой так и осталась. Тебе только романы писать. Позови мать, что-то она там пропала совсем...

Женщины стали собирать на стол. Владиславлева особо уговаривать не пришлось. Ближайшая электричка шла в город почти через два часа. А тут настоящие зеленые щи с молодой крапивой и прочей июньской зеленью, заправленные домашней сметаной.

– Баб Дунь, щи наивкуснейшие...

– Да чего там, самые обыденные, – отмахнулась от похвалы Евдокия Матвеевна, но, видно по лицу, довольная-предовольная. Из рюмки лишь пригубила, а лицо сразу разрумянилось, как у молоденькой. Сидит привычно на уголке, готовая снова на кухню нырнуть.

Под чай, словно виноватая за свой неожиданный приход, Владиславлев рассказал два коротеньких, но весьма смешных анекдота.

Шутливый тон поддержала Настюшка – так старики звали внучку – и, видимо, не случайно, потому что Владиславлев сам на нее засмотрелся в какой-то момент до неприличия и немного позавидовал Дмитрию, этому малорослому и ничем не примечательному внешне москвичу. Но по тому, как на него иной раз взглядывала Настя, без труда угадывалось взаимное обожание. Она-то и попросила Тимофея Изотиковича рассказать о приезде в Уфу Хрущева, и он с легкостью согласился:

– Как-то весной поехал я в город. Евдоха затеялась со стряпней, гостей ждали. Вот и наказала мне строго: без сметаны не возвращайся. Я в один магазин с бидончиком, в другой – нету. Поеду, думаю, в центр.

У трамвайного кольца на Ленина вышел, а там народу тьма-тьмушая, хотя будний день. Ничего понять не могу. Вдруг вижу, с улицы Фрунзе лавина прет, а в толпе говорят: «Механический завод привели». Грешным делом подумал, что забастовали рабочие, поперли на улицы митинговать...

Однако гляжу, хохочут мужики, зубоскалят и все чаще Хруща поминают в так-растак.

Прижали меня возле телеграфа к ограждению, осталось немного до продуктового магазина, а не пробиться. Стою. Тут мужчина в шляпе шурует с охапкой флажков и сует кому ни попадя. Я тоже взял один на всякий случай. Следом милиция поперла вдоль по улице. «Видно, дело серьезное будет», – думаю сам себе. Вся улица, сколько глаз хватает, народом запружена с обеих сторон, а где нет ограждения, милиция цепью стоит, на проезжую часть не пускает.

И вот понеслось по толпе: «Едет! Едет!» Народ даже примолк и как бы насторожился, а головы вытягивают в сторону драмтеатра...

Вдруг появляется посреди улицы здоровенная лохматая собака с поджатым хвостом, как сейчас помню, рыжего окраса. Несется собака под свист и хохот по живому коридору, и деться ей некуда, а следом мотоциклисты, а еще дальше в большой правительственной машине – Никита Сергеевич. Когда машина со мной поравнялась, то он уже не махал рукой, не улыбался, а сидел, как Будда, угрюмо поджав губы. Я отчетливо разглядел, было до машины шагов двадцать. Ехали они еще неспешно, под разные выкрики, все больше нехорошие, а потом он, видать, отдал команду, и полетела эта процессия, набирая скорость, к проспекту Революции, где Хрущев развернулся и, не заезжая в обком, подался напрямик в аэропорт.

Поснимал бы наше начальство, как пить дать, но не успел: тут его вскоре самого окоротили..

Рассказ Тимофея Изотиковича был прост, но цеплял, как это случалось почти всегда. И сразу же начался спор на извечную тему: кто же прав? Почему снова не идут реформы? «А вот если бы!..» – начал было Владиславлев, но осекся. Расхотелось ему спорить, к тому же пропустил четырехчасовую электричку, а ему не напоминали, поставили заново самовар, и он в какой-то момент, глядя на подсвеченные сбоку деревья с ослепительной июньской листвой, на божью коровку, что ползла деловито по краю оконной рамы, на деда Шапкина, неспешно объяснявшего Диме устройство пчелиных семей, решил, что всех знает давно, что нет и не будет никаких трупов, экспертиз, протоколов и дела об убийстве сторожа автобазы номер три семнадцатилетними подростками из-за овчинного полушубка...

Для всех поставили конфеты, варенье, а Тимофею Изотиковичу принесли отдельную сахарницу с кусковым рафинадом. Он колот на ладони крупные куски сахара ударом ножа, и в этом была странная приятность.

Владиславлеву захотелось попробовать, чтоб так же вот, без крошек, строго пополам, с одного удара, а потом еще пополам, и еще. А после взять пальцами маленький кусочек и с причмокиванием, как это делают дети, пить вприхлебку чай, щуриться от пронзивших оконные рамы солнечных лучей, вести неспешные разговоры и представлять, что здесь его родная семья. Выхватил из сахарницы бугристый кусок рафинада, понянчил в горсти, как бы примериваясь, но тут же передумал, опасаясь нарушить неловким движением мимолетное ощущение счастья.

Глава 8

Анютины глазки

Это походило на устоявшийся ритуал. Иногда после ужина Анна Малявина доставала потрепанную папку из толстой свиной кожи с медной застежкой и фасонистыми уголками, сработанную, что угадывалось без труда, в те времена, когда добротность, красота, пусть даже вычурная, отличали почти каждую вещь. Когда Анна торопливо завербовалась и уехала в уральское Заполярье, уверенная, что вернется через несколько лет, то ее вещи из коробки растащили, хуже того – разворовали, уцелели лишь папка с бумагами да кое-какие безделушки. Почему долгими зимними вечерами взялась читать отцову рукопись вслух, она объяснить не могла. Возникло это вместе с болезненным ощущением подступающего одиночества, потому что с Аркадием Цуканом, Ваниным отцом, распрощалась минувшей осенью, как ей казалось, навсегда. А еще таился в этих еженедельных читках налет романтической книжности: семья, камин, старинная рукопись, завывание вьюги.

Она дочитала до того места, когда два римских сенатора, Гай Кассий и Децим Брут, завернувшись в тоги плебеев, идут к дому Марка Брута окончательно склонить его на свою сторону, чтобы именно он, потомок легендарного Луция Брута-цареубийцы, возглавил заговор против Юлия Цезаря. Они в нерешительности застряли у стены, густо исчерченной объявлениями о предстоящих гладиаторских боях, собраниях в курии, ругательными надписями, среди которых выделялась свежая: «Трус, ты не достоин называться Брутом», – опасливо раздумывая, потому что не знали, как встретит их вчерашний соратник Помпея, а ныне городской претор, обласканный Цезарем, – Марк Юний Брут...

Анна умышленно прервала чтение на интересном месте, чтобы Ваня напомнил: «Мам, почитаем снова про римлян?..»

– Почитаем, если ты расчистишь снег во дворе и сходишь за хлебом, – тут же ответила Анна Георгиевна, заранее готовая ответить именно так. Знала, что Ваня без того все сделает, а сверх того принесет воды и дров на растопку – он сам лет с двенадцати потянулся к разной домашней работе, не тяготился ею и пусть неумело, но делал. Раиса Тишкова, ее дом стоял напротив, как-то укорила: подожди, он тебе попомнит, как младший мой. Все выговорит, что было и не было. Но Анна отмахнулась, она давно отвыкла загадывать наперед.

После обеда негаданно пришла мать – Евдокия Матвеевна, семидесятилетняя, с лицом темным, морщинистым, как печеное яблоко, но по стати и делам совсем не старуха. Поэтому странно видеть ее с лиловыми губами, немощную до того, что калоши с валенок не может стряхнуть, и Анна, готовая заранее к укоризне матери за беспорядок в доме, стала помогать ей раздеться, выпрашивая торопливо, как и что там, в Холопове, вперебивку со своим: «Да ты, мама, видно, простыла... Оставайся сегодня, не пропадет отец там».

Евдокия Матвеевна поотнекивалась, но вяло, больше из-за гордости: чувствовала, что езду в электричке, а потом путь от станции в гору ей не осилить. После ужина, ощущая навалившуюся слабость, неожиданно выговорила:

– Накаркала Нюрка по осени: тебе-то, Матвеевна, Бог, видно, век отмерил без сносу.

Сказала без злости, с сердитой ноткой, точь-в-точь передав интонацию племянницы, ставшей набожной в последние годы, отчего у нее голос несколько изменился, стал елейным.

Под разговор этот Ваня напомнил про рукопись деда Малявина, но Анна тут же прищекнула, зная, что мать сердится при любом упоминании о Георгии Павловиче. Однако Евдокия Матвеевна расслышала. Строго посмотрела на обоих.

– Тебе, Аня, все нейдет. Мало в тридцатых досталось? Хочешь снова накликать?

Анна вскинула привычно голову с густыми волнистыми волосами, которые и в пятьдесят с лишним лет не поседелось, не поредели, а если их обиходить, подзавить, уложить, так еще и многим на зависть, – ничего не ответила матери, потому что хорошо помнила весну тридцать пятого года, когда так необычайно гомонили птицы, цвела черемуха, и она впервые ощутила в себе победительную женскую силу...

В сельскохозяйственном техникуме подступала сессия, а после нее – производственная и, что очень важно, оплачиваемая практика по пчеловодству, поэтому она с подружкой Катей Марченковой убегала от общего гвалта, от навязчивых ухажеров на косогор за железнодорожным полотном, чтоб по каждому билету вопросы от зубов отскакивали, чтоб, не дай бог, не слететь с повышенной стипендии, которую давали только отличникам, чем они дорожили, особенно Катка, которая осиротела в тридцать втором году.

Они засиделись за учебниками, на комсомольское собрание опоздали, поэтому так неожиданно прозвучало для обеих:

– Нам стало известно, что второкурсница Анна Малявина скрыла свое буржуазное происхождение.

Это сказал секретарь комсомольской организации – рослый красивый парень с открытым чистым лицом, который ей нравился давно своей напористой речистостью.

– Встаньте, Малявина, вот здесь, у стола, и расскажите нам правду без утайки.

– Отец у меня Тимофей Изотикович Шапкин, он из рабочих, работал в депо слесарем. Теперь работает механиком на мельнице в колхозе «Светлый путь».

– А почему у тебя фамилия Малявина?

– Это мамина фамилия. Они долго не регистрировались, была Гражданская война... А потом уже мне было восемь лет, и я пошла в школу, и они не стали переделывать мою метрику.

Аня говорила звонко, бойко, ее симпатичное личико и голубые глаза излучали искренность и готовность без запинки отвечать на любой вопрос.

– Товарищ Митряева, почему вы не проверили это... ну, эти сведения?

– Я ведь болела последнюю неделю.

В зале загомонили. «Ишь, проверяльщики», – услышала Аня и узнала язвительный басок однокурсника Сережи Петрова, который отслужил действительную в Красной армии и никого не боялся, как ей казалось.

– Все-то она врёт!

Это выкрикнул Фирс Жуков. Он стоял в проходе пунцово-красный, чтобы скрыть свое смущение, сердито, исподлобья смотрел на президиум и на нее.

– Врет Анька! У нее отец – помещик. Я знаю. У нас рядом с Авдоном место есть, которое прозвано Малявинским поместьем. Вот так-то! – Фирс вскинул чубатую голову. – Она Шапкиным прикрывается, а он – чистый кулак, у него имелась мельница. Кто хочет, может взглянуть, ее в наш колхоз забрали, а Шапкин при ей механиком заделался. Вот она какого роду-племени...

Фирс говорил, а она видела близко-близко его блудливые глаза, слышала шепот: «Анечка, пойдем в парк. Че тут сидеть с дураками этими? Пойдем, я тебе что покажу...» Она отталкивала его, хлопала по руке, а он все прижимался, все шептал: «Мы же с тобой с одной местности, считай, сродственники». И тогда она вскочила, окликнула сидевших рядом однокурсниц:

– Девчата, гляньте на ухажера. В кусты зовет. А сам-то слюнявый, как телок.

Подружки расхохотались: «Ох и Аннушка!» Кто-то из парней озорно засвистел, заулюлюкал вслед Фирсу.

– Что вы теперь скажете, Малявина? – строго, очень строго спросил секретарь.

– Дурак он, этот ваш Фирс Жуков, – ответила она не колеблясь, лишь запунцовела лицом, отчего еще больше похорошела. – Выйти замуж предлагал, а я отказалась. Вот и плетет напраслину.

Человек сто, наверное, смотрели так, что ей показалось, будто задралась юбка, и она машинально огладила себя вдоль бедер, а после этого сквозь туман, застилавший глаза, увидела близко лицо секретаря, который хотел что-то сказать, но лишь смотрел пристально. От этого взгляда ей захотелось спрятаться, убежать, но она упрямо приподняла подбородок и поставилась всем лицом под его взгляд. По тому, как он дрогнул, сглотнув слюну, как отвел взгляд, прежде чем сказать: «Ладно, оставим вопрос на проработку до следующего раза», – Аня поняла, что он для нее не секретарь, а обыкновенный мужчина, желающий ее.

Она села на свободное место в первом ряду, она ждала, когда этот рослый красивый парень взглянет вновь, уверенная, что взглянет непременно, и заранее знала, как поведет глазами, как улыбнется и слегка, чуть приметно мазнет кончиком языка по верхней и без того алой губе. Их постановка для выпускного вечера, где у нее главная роль, не случайно называлась: «Анютини глазки».

Страх ушел, она чувствовала, что пронесло. Страх пришел позже. Когда до госэкзаменов оставалось два месяца, ее исключили из комсомола и пришлось ехать в Уфу за содействием к давнему другу отца. Он помог отстоять ей диплом, но посоветовал уехать на годик-другой из Уфы. После этого страх вкогтился цепко, не отпускал долгие годы, и теперь после слов матери, как ни настырна была, а все одно испугалась, подумала: «Может, зря разбередила голову сыну? Мало ли что может случиться и ныне...»

Анна стыдилась и никому не рассказывала, как бросилась от страха, в неполные девятнадцать лет, в первые подставленные руки с огромным желанием сменить фамилию... Но это оказалось обманом, похожим на оглушительную пощечину. Секретарь отомстил ей за долгое томление, за робость, за все разом.

Под чей-то риск и не окаменевшее сердце ей разрешили сдать госэкзамены, защититься, выставив в последний момент единственное «хорошо» за три с половиной года обучения. Кожей ощущая подступившую опасность, Анна Малявина попросилась подальше, и ей нашли место зоотехника «дальше некуда» – на Алтае, в Горной Ойротии.

Весной тридцать шестого года Анна Малявина приехала с направлением в город Ойрот-Тюра, откуда ее, нимало не усомнившись, что сбежит вскоре девка, отправили в дальний и самый обширный Тюнгурский район, где сходятся клином границы России, Китая, Монголии и берут начало бурливая Катунь, порожистый Аргут, Чуя, маячат на горизонте заснеженные хребты с длинными языками ледников.

Случалось, когда знакомые перебирали фотографии в ее альбоме, Анна говорила как о пустяшном, обыденном: «Это у Телецкого озера. Это я верхом на Булате. Кавалерийской выучки конь, попал под выбраковку. До чего ж умен был!.. А это мы на Тюнгурском перевале».

– Да-а, места там красивейшие, – начинала по обыкновению Анна Малявина. Умолкала. Старалась подобрать точное сравнение, чтобы передать те ощущения, то буйство природы... Но любое сравнение и тем паче – «прямо Швейцария!» – проигрывало, казалось ничтожно мелким.

Память у Анны во все времена услужливо цепкая, она и через сорок лет помнила фамилию начальника сельхозуправления, названия мелких алтайских селений, речушек, чем ее угощали на отдаленных пастушеских точках, вкус овечьего сыра, охлажденного в роднике айрана, запеченного на углях мяса... Но напрочь забылась отчужденность первых месяцев. Проводить до ближайшей точки, показать местность, выпасы – это пожалуйста, но как только она начала выбраковку молодняка, взвешивание, обмер, люди отвечали: «Руски не понимают». А те, что знали, делали вид, что тоже не понимают, но в лице, в раскосых глазах угадывалось опасливое и неприязненное: «Много ездит тут разных начальников».

– Раз, помню, приехала на молокоприемный пункт... В те годы специалистов не хватало, так мы и за ветврачей исполняли обязанности. Тогда с этим строго было. И вот на подъезде слышу – малыш в крике заходится. Когда подъехала, вижу: молоденькая алтайка-приемщица тетешкает малыша и так и этак, а он уже синеть начал от крика, а лицо и тело – как сплошной волдырь, глаза – узкие щелки.

Татарочка одна... там народ разный проживал... поясняет, что оса малыша укусила несколько раз. Тут будто кто подшепнул: нужна пижма. Я тут же на коне – в ближайший лесок. Там в низинке, в редколесье нарвала охапку желтых соцветий – и назад галопом. Пока растерла анальгин да малыша двухлетнего напоила, бабы запарили пижму. Развела я этот густой отвар и начала малыша в корытце купать. Он малость притих, а вскоре и вовсе успокоился. Еще через час отеки спадать начали... Так и пошло с тех пор: Аня-лекарка. Потому что лекарства, мази, необходимые для скотины, всегда под рукой, а травку нужную, лечебную только не ленись, собирай.

Как-то раз поехали с проверкой по овечьим выпасам с начальником РайЗО Голотвиным. Он удивляется, что встречаются, будто высокое начальство, в обед лучшие куски мяса подкладывают, из-за стола вылезти не дают. А я ему со смехом: «Да, видно, посвататься хотят».

Анна Георгиевна хорошела от этих воспоминаний. Три года, прожитых на Алтае, представлялись цепью ярких праздничных событий. Даже про волков, от которых едва отбилась в полуверсте от крайней сельской огорожи, она вспоминала со смехом.

– А что ж ты сбежала оттуда? – спрашивали иной раз.

Анна сразу вспоминала про закипающий чайник, грязную посуду на столе, проговаривала невнятно: «Да так вот, возникла одна ситуация...» Рука же невольно вскидывалась ко лбу, где белела с правой стороны узкая полоска шрама. Но лишь свояченице Валентине однажды рассказала просто и без прикрас про любовь свою алтайскую, щедрость двадцатилетнюю, когда кажется, что все еще впереди, всего много, как и неистраченных сил для любви.

– Было это под осень, кажется... Срочно потребовались сведения по отгонному скотоводству, состоянию пастбищ, а тут как раз пришла телефонограмма, что из Монголии прорвалось воинское подразделение, в соседнем Усть-Чекетском районе убиты двое исполкомовцев, поездки только группами не менее трех человек.

Решили ехать мы с Голотвиным, прихватив с собой энкавэдэшника, но с нами вызвался ехать начальник сельхозуправления Трофимов. Серьезно собирались, мне предложили в управлении взять наган под роспись, но я отказалась.

– На черта он мне нужен? От ухажеров я и плеткой отобьюсь.

Как-то не верилось. Хотя стрелять я умела неплохо, особенно из дробовика по пустым банкам.

Несколько дней объезжали пастбища и вдруг обнаружили... Собственно, я сама определила очаг ящура – афты, специфические поражения на коже заметила. Трофимов спорить стал со мной, что это, мол, слепни накусали. И немудрено: у него образование-то четырехклассное да ветеринарные курсы. Едва убедила, чтоб корову зарезали. А уж как вскрыли, тут всем стало ясно: ящур! Засуетились. Пару суток с коней, можно сказать, не слазили, все стадо под нож и в ямы, народ собрали ладить огорожи, превентивные меры разные...

И вот с утра пораньше, едва развиднелось, тронулись мы в Тюнгур по аргутской неширокой долине. К обеду решили затабориться, коней подкормить, напоить. Остановились мы в низинке, где погуще трава, костерок развели, чай вскипятили. Сидим, перекусываем... Вдруг конь запрядал ушами, шею вытянул, словно гончая в стойке, и к Федору Голотвину. Надо сказать, что конь у Голотвина первостатейный, кавалерийской выучки, по кличке Палаш. Сколько лет с лошадьми дело имела, видела призовых жеребцов, трофейных коней... Но чтоб так красиво сложен и на диво умен – куда там любой собаке! – больше не встречала.

Энкавэдэшник, рыжеватенький, совсем молодой парень моих лет примерно, вызвался разведать. И вот слышим, забухали выстрелы винтовочные, и летит наш парняга на своем Гнедом с вытаращенными глазами: «Банда! Банда! Уходим!»

Мы котомки в охапку – и быстрее, быстрее из низины, чтоб нас не перестреляли, как куропаток. Кони ухоженные, отдохнувшие, легко перешли в галоп, и мы оторвались, но на каменистом взгорке начала засекается лошадь у Трофимова. Отставать он начал. Лошадка у него породистая, тонконогая, аристократка рядом с нашими лошадьми. А у меня-то и вовсе «дикарь» – алтайской местной породы. Трофимов очень своей лошадью гордился, но такая хороша на ипподроме, а не на каменистых осыпях. Совсем охромела кобыла.

Голотвин положил своего Палаша у тропы на повороте и двоих сшиб с коней, придержал погоню. Следом энкавэдэшник спешился – парень хоть и молодой, но сообразительный оказался. Повод мне отдал: «Гоните до верха самого по дороге, а я Голотвина прикрою и напрямки выберусь». В этом месте дорога как раз скалу огибала.

Выбрались мы на этот небольшой перевал, видим: впереди – место ровнехонькое, слева Аргут ревет в крутом прижиме, справа – скала, которую с полверсты еще огибать надо.

Голотвин подлетел галопом на своем Палаше, заставил всех лошадей положить. Сразу сообразил, что, начини мы скалу огибать, перестреляют нас на открытом месте.

Лежим час, другой за камнями. Вдалеке конные мелькают, а сколько их там, не разобрать, но явно не меньше десятка. На открытое место выскочить не решаются – оценили стрельбу Голотвина. А он не удержался, похвастался, что в кавалерийском полку за призовую стрельбу однажды хромовыми сапогами наградили.

И вот видим: с полдюжины конников отделились и пошли низом по долине на северо-восток.

– Обойти решили, чтоб с отрога, сверху нас взять... – этак раздумчиво говорит Голотвин. – Что, мужики, делать-то будем?

Начальник управления Трофимов молчит, но по тому, как жметя к камням, видно, что не советчик. Энкавэдэшник тоже молчит. А я к тому времени успела к обрыву сползть. Оглядеться. Говорю: «Надо спуститься и на ту сторону уходить, иначе ночью нас перережут без выстрелов». Они – в мать-перемать... Но я не больно-то слушаю. У самой хорошая веревка была да у Голотвина прочный аркан имелся. Пошумели, побранились, но деваться некуда.

Обрыв крутой, каменистый, с редкими кустарниками, но я прошла его удачно, вот только беда – до прибрежной отлогой кромки метра три-четыре не достает веревка. Там уж кубарем, как придется. Следом Трофимов и энкавэдэшник спустились. Ждем, а Голотвина все нет и нет. Река шумит, до него не докричаться. А потом видим: веревка ползет к нам. Все, сам себе путь отрезал. Метров полста мы прошли вниз по течению, а дальше никак. Бурлит у скалистого прижима вода, не пройти посуху, только вплавь.

Первым пошел наискосок, держась за веревку, молоденький энкавэдэшник. Его рыжеватая голова, как поплавок, то пропадала, то выныривала вновь. А потом видим: выбрался он на береговую кромку много ниже прижима.

Я следом пошла, а вода холоднющая, ледяная, так бы и завизжала. Потом закрутило, поволокло... На речке с детства выросла, но воды нахлебалась и едва-едва к берегу прибилась. Благо, парень помог, вытянул.

Трофимов, грузный, сорокапятилетний, как вошел в воду, так больше мы его и не видели. Выбрались на левый пологий берег – тишина, солнце к закату клонится, подсвечивая горные хребты. Травками, нагретой землей пахнет, лесной разопревшей ягодой. Красота!..

Вдруг вижу: энкавэдэшник наган выхватил и щелк, щелк – осечка. А с противоположного берега навскидку всадники ударили залпом, тут-то меня и ожгло. Упала я в траву, прижалась плотнее. Рядом энкавэдэшник ругается: «Обошли, гады, обошли сзади Голотвина!..»

Вытащила я из штанов подол нижней сорочки, оторвала длинный лоскут. Парень меня перевязал. «Чепуха, – говорит, – только кожу содрало». А мне от этих слов заплакать хочется, и голову жжет, а крови натекло, пока он перевязывал, как с барана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.